

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ

У СТУПЕНЕЙ ТРОНА

Россия державная

Александр Павлов

У ступеней трона

«Public Domain»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Павлов А. П.

У ступеней трона / А. П. Павлов — «Public Domain», — (Россия
державная)

ISBN 978-5-486-03526-5

Александр Петрович Павлов – русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие. В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны. В это время активизировались сторонники Елизаветы, дочери Петра Великого, которые и привели ее к власти. На страницах романа бушуют страсти, плетутся интриги, действуют известные и неизвестные исторические личности.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03526-5

© Павлов А. П.
© Public Domain

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	11
III	16
IV	21
V	26
VI	31
VII	35
VIII	39
IX	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Александр Петрович Павлов

У ступеней трона

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Часть первая

I

Ссора

Октябрь 1740 года выдался страшно сырой и дождливый, отчего в Петербурге, и вообще мало избалованном хорошими, погожими днями, а осенью постоянно окутанном печальным флером туманной мглы, было как-то особенно хмуро и уныло. Это уныние страшно тяготило петербуржцев, но оно в особенности было не по душе красивому, статному молодому человеку, только что вышедшему на улицу из ворот одного дома вблизи Адмиралтейства. Остановившись на мостках, заменявших в то время тротуары, он недовольными глазами поглядывал на серое, затянутое тучами небо, с которого кривой сеткой сыпал мелкий дождь, на уходившую вдаль линию домов, как бы тонувших в серовато-молочной туманной мгле, и на расстилавшуюся перед ним грязную площадь, с одной стороны окаймленную забором, тянувшимся около зданий Адмиралтейств-коллегии, а с другой – тяжеловесным фасадом Сената. На этой площади теперь стояли целые озера грязной воды, в которую с тупым шелканьем падали дождевые капли, и этот шум, казавшийся грустным шелестом сухих листьев, положительно раздражал молодого человека.

– Ну и погодка! – вырвалось у него. – От этой слякоти можно не только простудиться, но сойти даже с ума. Я понимаю теперь, почему англичане страдают поголовно сплином. Говорят, что в Лондоне такие дожди и туманы в обыденку... Чего уж в Лондоне!.. я вот только третий день мокну и глотаю этот промозглый воздух и то уж чувствую, что меня охватывает какая-то непонятная тоска. Нет, конечно! Как только устрою все, как только узнаю, где находится мой братец, – тотчас же удеру из Петербурга... Бог с ним, с этим столичным весельем! И, наконец, какое же это веселье, если я за все эти три дня не видел ни одного мало-мальски радостного лица, ни одной улыбки? – Закончив эту тираду резким пожатием плеч, молодой человек закутался в плащ и, осторожно ступая по скользким, покрытым грязью доскам, стал пробираться в сторону Невской перспективы.

Он имел полное право негодовать на дурную погоду, стоявшую в Петербурге: в столице он был совершенно посторонним человеком, знакомых у него здесь никого не было, и целых два дня ему пришлось провести в тоскливом одиночестве, а тут еще эта сырая и промозглая погода, постоянный дождь, сеявший с неба, и тоска, царившая на петербургских улицах, действовали крайне неприятно на его впечатлительную натуру. Жизнерадостный и веселый, только что вступивший в жизнь и еще не обвешанный ее суровым дыханием, он чувствовал, что этот осенний дождь смывает и с его лица веселую улыбку, что холодный ветер, ожесточенно дующий с моря, леденит не только его тело, но и его душу, а этот противный туман, плавающий серыми волнами в воздухе, окутывает его мозг, обесформливает его мысли так же, как обесформливает дома, церкви и деревья, набрасывая на них свою густую пелену.

Василий Григорьевич Баскаков – так звали этого молодого человека, медленно шагавшего по мосткам Невской перспективы, – приехал из Москвы. Правда, и в Москве нынешняя осень была не из важных: и там выпадали тоскливые дни; но там не вечно же шел дождь, ненастные дни чередовались с ясными и сухими, и, самое главное, там не было этих ужасных туманов. В Петербург Баскаков попал случайно: отчасти чтобы доставить удовольствие своей тетке Ольге Ивановне и разыскать ее старшего сына, возвратившегося будто бы из Берлина, где он состоял при русском посольстве, отчасти чтобы самому познакомиться с Северной столицей, отнявшей в последние годы у древней Первопрестольной весь ее блеск и все значение.

Баскакову было всего двадцать два года, а в этом возрасте все кажется в розовом цвете, и поэтому, когда его перед отъездом пугали всякими страхами бироновской тирании, черной тучей нависшей не только над Петербургом, но и над всей Россией, Василий Григорьевич только махал рукой и беспечно улыбался. Все эти страхи казались ему преувеличенными, бироновские застенки совсем не такими ужасными, общий ужас, охватывавший всех при одном только имени всесильного временщика, чересчур раздутым. У него пока еще не было ни друзей, ни врагов, в его жилах текла молодая горячая кровь, сердце его еще ни разу не билось от страха, и он смело отправился на невские берега, вполне убежденный в том, что его особа представляет слишком незначительную величину и что его появление в столице не вызовет решительно ничего внимания.

Василия Григорьевича тянула сюда жажда новых впечатлений, бессознательная надежда на возможность весело провести время, но Петербург встретил его неприветливо и сурово, и Баскаков очень быстро разочаровался в нем. Только что начавший застраиваться город показался ему жалким и некрасивым сравнительно с древней Москвой, поражавшей величием своего Кремля, роскошными палатами богатых бояр и обилием Божьих храмов. Дожди и туманы раздражали его. На улицах царил уныние, вызванное осенней слякотью и главным образом болезнью императрицы – болезнью, усилившейся настолько, что стали поговаривать о ее близкой кончине. Петербуржцы, вообще напуганные событиями последнего времени, трепетавшие от малейшего шороха, еще полные ужасного впечатления, какое произвела сравнительно недавняя казнь кабинет-министра¹ Волынского, не зная, что принесет им грядущий день, тоскливо прятались от зоркого взгляда сыщиков Тайной канцелярии², и потому-то петербургские улицы были почти пусты. Если же и встречались Баскакову редкие пешеходы, если же и громыхали мимо него тяжелые колымаги³, берлины⁴ и извозчичьи роспуски⁵, почти по ступицу колес уходя в грязь, стоявшую на плохо мощенных мостовых, то лица встречавшихся ему были так сумрачны, что молодому человеку становилось положительно тошно, и он предпочитал сидеть в своей горнице на заезжем дворе, чем слоняться по столице, встречая только хмурые взгляды да глядя на свинцовое небо, сеящее надоедливый непрерывный дождь.

Если бы не обещание, данное им тетке, Василий Григорьевич, не задумываясь ни на минуту, снова бы уселся в почтовую карету, чтобы вернуться в Москву; но он был связан этим обещанием и должен был оставаться в Петербурге, разыскивая своего двоюродного брата. Но, словно нарочно, его преследовало несчастье и в этих розысках. В коллегии иностранных дел ему заявили, что «точно-де ассессор⁶ Баскаков, состоявший при берлинской амбассаде⁷, из Берлина отбыл и в Петербурге в недавнее время находился», а находится ли и по настоящее время здесь – о том ему обещали разведать. И вот третий день подряд ходит он в коллегию, вот и сейчас только что вышел оттуда, а чиновник, обещавший ему все доподлинно разведать, опять заявил, что ничего пока верного не знает, но убежден, что ассессор Баскаков в Берлин назад не уезжал, в другие города отпуска не брал и должен находиться не иначе, как в столице... А когда Василий Григорьевич возразил, что если это действительно так, то коллегии должно быть ведомо местопребывание его двоюродного брата и что ассессор – не иголка, которая может затеряться так, что ее едва-едва разыщешь, – чиновник со снисходительной улыбкой заметил:

– По нынешним временам, государь мой, не только ассессоры, а и действительные тайные советники не больше иголки значат и, как иголки, бесследно пропадают...

¹ Кабинет-министр – член официального совета, верховного органа в составе трех кабинет-министров.

² Тайная канцелярия – орган политического сыска в Петербурге.

³ Колымага – карета, коляска, барская повозка, длинная кибитка, тарантас.

⁴ Берлина – старинная карета, рыдван, колымага.

⁵ Роспуск – одноосный прицеп для перевозки длинномерных грузов.

⁶ Ассессор – заседатель, должностное лицо, облаченное судебной властью.

⁷ Амбассада – посольство.

Но все же он опять просил Василия Григорьевича удосужиться и заглядывать в коллегия, которая не замедлит разведать, куда подевался его двоюродный брат.

Там, в канцелярии коллегии, Баскаков не придал никакого значения зловещим словам разговаривавшего с ним чиновника, но теперь, на свободе, медленно пробираясь на Фонтанку, где стоял заезжий двор, на котором он остановился, молодой человек невольно задумался о судьбе своего двоюродного брата, задумался и даже испугался. И по сведениям, полученным теткой, и по тому, что ему самому удалось узнать в иностранной коллегии, Николай Львович Баскаков месяца два уже как выехал из Берлина. Если положить, что он употребил на проезд до Петербурга месяц, то, во всяком случае, он уже целый месяц находится в столице. И вдруг оказывается, что коллегия ровно ничего не знает о своем чиновнике, пребывающем так близко от нее.

Вдруг в мозгу Василия Григорьевича, как молния, блеснула ужасная мысль: «А что, если Николай исчез в застенках Тайной канцелярии? Что, если коллегии неизвестно его местожительство потому, что он попал в лапы бироновских палачей, умеющих не только заставить говорить, но и заставить молчать свои жертвы?..»

И стоило этой страшной мысли закопошиться в мозгу молодого человека, как он почувствовал, что уже не холодный ветер, с воем носящийся по улицам, леденит его тело, а ужас перед каким-то неведомым, но грозным несчастьем. Уезжая из Москвы, он храбрился; ему казалось, что бироновским сыщикам до него нет никакого дела, но теперь, под влиянием мерзкой погоды, расшатавшей его нервы, вся его храбрость растаяла, как дым под ветром. Ему внезапно вспомнились все ужасы бироновских застенков, о которых хотя глухим шепотом, но ходили толки по Москве; вспомнились рассказы о сотнях неведомо куда исчезнувших людей. Он так еще недавно беспечно отмахивался, слушая эти толки и рассказы, но теперь его охватил такой страх, словно его уже схватили цепкие руки сыщиков, словно сзади него уже прогремело роковое «слово и дело», словно перед ним уже замелькали пыточные орудия, как багровой росой, обрызганные человеческой кровью...

Что до того, что его никто здесь не знает, что на нем нет никакой вины? Для того чтобы попасть в застенок Тайной канцелярии, не нужно было никакой вины. Чтобы предстать пред грозные очи Андрея Ивановича Ушакова, совершенно было достаточно и того, что он находился в родстве с человеком, уже познакомившимся с пропитанными кровью руками бироновских палачей. В те времена вину выдумывали те, кому это было выгодно, кому это было нужно, а даже легкая встряска на дыбе заставляла вполне невинных людей клеветать и на себя, и на своих близких.

Вспомнилось все это Баскакову, и он почувствовал, как на голове у него проступил холодный пот, как по телу пробежала ледяная дрожь, и он положительно с испугом отшатнулся, когда слышал за собою чьи-то шаги. Но прохожий прошел мимо, даже не взглянул на Василия Григорьевича, и молодой человек облегченно вздохнул. Но страх его не прошел. Ужас, навеянный грезами, не рассеялся. Как это бывает зачастую, он уже не сомневался, что его двоюродный брат пропал в застенках Тайной канцелярии, ему уже казалось, что Николай Львович не вынесет пытки, оговорит всех своих знакомых, всех своих родных, а в том числе и его, и, может быть, вот сейчас, вот в эту самую минуту, его приход на заезжий двор сторожат сыщики, и стоит только ему показаться там, как его схватят и, может быть, на целые годы замуруют в каменный мешок.

И страх был так силен, что Баскаков положительно теперь боялся идти на заезжий двор. До Фонтанки было уже недалеко, ему уже был виден отсюда мост, перекинутый через речку; но он не только замедлил шаги, но даже остановился, предпочитая провести скорее ночь на улице, чем попасть прямо в цепкие руки сыщиков и ни за что ни про что, может быть, распроститься с только что начавшейся жизнью.

Стало заметно темнеть. Набегали вечерние тени, и волны тумана, носившегося по улицам, стали принимать постепенно более мрачную окраску. И этот мрак, точно надвигавшийся со всех сторон, еще сильнее тяготил Баскакова, и ужас с каждой секундой все больше и больше разрастался в его душе.

Василий Григорьевич взглянул вверх, на печальное небо, которое также заволакивалось ночной тенью, посмотрел по сторонам и вдруг заметил в нескольких шагах от себя только что зажженный фонарь, колыхаемый порывами ветра, отчего его слабый огонек казался в туманной мгле какой-то дрожащей, точно танцующей, звездочкой.

«Должно быть, австерия⁸, – подумалось ему, – можно зайти и хоть обогреться, а то этот ветер окончательно заледенит меня».

И он крупными шагами направился в сторону, где дрожал огонек.

Но когда Василий Григорьевич переступил порог двери, над которой висел фонарь, он убедился, что это не австерия, а кабачок для чистой публики, так называемый герберг, которых в Петербурге в то время было сравнительно мало. Несколько столиков, покрытых чистыми скатертями, бросились ему в глаза; увидел он и прилавок, на котором величественно красовался бочонок и стояла целая батарея стеклянных кружек и оловянных стаканов, а рядом с бочонком он заметил прехорошенькую женскую головку со вздернутым носиком, ярко-красными губами и целым каскадом пышно взбитых льняных волос. Когда он переступил порог, это личико улыбнулось ему, и веселая улыбка буфетчицы, и теплота, царившая здесь, немного разогнали страх, овладевший было им на улице. Он скинул с себя насквозь промокший плащ и присел к одному из столиков, поглядывая на хорошенькую буфетчицу, которая, продолжая ему улыбаться, уже приближалась к нему.

– Что прикажет господин? – с сильным чухонским акцентом спросила она, подойдя к его столу.

Василий Григорьевич окинул любующимся взором ее полную, пышную фигурку и заявил, что ему хочется обогреться и, что она ни подаст, ему из таких хорошеньких ручек все покажется нектаром. Буфетчица, несмотря на то что привыкла к всевозможным комплиментам, которыми ее постоянно осыпали все посетители герберга, вспыхнула ярким румянцем.

– Однако что господин пожелает? – повторила она. – У нас есть нюрнбергское и мюнхенское пиво, есть всевозможное вино; чего же вам угодно?

– Так дайте мне, душечка, бутылочку мадеры.

Буфетчица торопливо скрылась за прилавком, загремела там посудой и, так же торопливо вернувшись назад, поставила перед Баскаковым поднос, на котором стояла темная запыленная бутылка и – очевидно, из уважения к его красоте – даже серебряная чарка. Василий Григорьевич поблагодарил красивую чухонку новым взглядом, от которого она вспыхнула снова, и с удовольствием выпил до дна большую чарку крепкого, ароматного вина, которое огнем пробежало по его жилам.

Он чувствовал, как по его телу разлилась приятная теплота, молодость взяла свое, и недавний страх исчез почти бесследно. Веселая улыбка снова задрожала на его губах, и он обвел комнату оживленным любопытным взглядом. Кроме него, в герберге было еще двое посетителей: они сидели в противоположном углу комнаты и, как показалось ему, смотрели на него далеко не дружелюбным взглядом. Один из них был военный, в офицерском мундире Измайловского полка, другой – штатский, в темно-фиолетовом бархатном камзоле и белоснежном жабо, которое оттеняло его смуглое лицо. Оба они были молоды, оба были очень недурны собой, но в то время, когда военный был совсем светлым блондином, штатский был жгучий

⁸ Австерия – гостиница, трактир, харчевня и питейный дом.

брюнет, и по его миндалевидным глазам и по очертаниям его носа, с очень заметной горбинкой, было несомненно, что в нем течет южная кровь.

Как только Василий Григорьевич появился в герберге, они оба, заметив его статную фигуру и бросив быстрый взгляд на его лицо, точно испугавшись чего, вздрогнули и переглянулись между собою. Разговор, который они вели до его прихода, как-то сразу оборвался; их оживленные лица сделались как-то странно сумрачными, в глазах загорелись недобрые огоньки, и, когда Василий Григорьевич, выпив чарку мадеры, посмотрел в их сторону, они бросили в свою очередь на него такой недружелюбный взгляд, точно он был их личным врагом.

– Это – он! – прошептал военный, наклоняясь через стол к своему собеседнику. – Я его узнал сразу.

Брюнет задумался на несколько мгновений и в свою очередь промолвил:

– И мне кажется, что это – он.

– Волк сам бежит в ловушку.

– И нужно постараться, чтобы он из этой ловушки не вырвался.

– Не беспокойся, не уйдет! Он слишком много насолил мне, чтоб его выпустить, и нужно покончить с ним, чтобы он не насолил нам еще больше.

– Но как же это устроить?

– Не беспокойся, – с зловещей улыбкой проговорил измайловец, – предоставь это мне.

Он медленно поднялся со своего места и пошел к тому столу, где сидел Баскаков.

Василий Григорьевич страшно бы удивился, если бы ему удалось подслушать этот странный разговор. Скользя равнодушным взглядом по лицам этих господ, он тотчас же опустил глаза, нисколько не интересуясь ими, и с большим удовольствием стал бросать свои пыльные взоры в сторону прилавка, любуясь личиком буфетчицы. Поэтому он донельзя изумился, когда измайловец, проходя мимо него, вдруг так сильно толкнул его, что он едва удержался на табурете. Эта не деликатность страшно возмутила Баскакова; он быстро поднялся на ноги, гневно взглянув на офицера, и не думавшего извиняться за свою не деликатность, и резко спросил:

– Это что же, сударь, значит? Чем я могу объяснить сей поступок с вашей стороны?

Измайловец ответил самым нахальным тоном:

– Да как хотите, так и объясняйте; я нисколько не интересуюсь тем, как вы себе сей мой поступок объяснить пожелаете.

– Так вы меня толкнули, значит, не случайно?

– Нет-с, не случайно. Мне не понравилась ваша физиономия.

Кровь закипела в Баскакове, он инстинктивно сжал кулаки и так толкнул измайловца, что тот отлетел от него на несколько шагов...

II

Неожиданный результат

Отлетев от толчка Баскакова к стене, даже стукнувшись головой о стену, измайловец в первое мгновение рассвирепел, глаза его налились кровью, и он в свою очередь бросился на Василия Григорьевича, но тотчас же быстро опомнился, гнев его точно растаял, злобные огоньки в глазах потухли, и вместо них показалась насмешливая, точно торжествующая улыбка. Он медленно подошел к Баскакову, продолжавшему стоять все еще в угрожающей позе, и размеренно, как бы отчеканивая каждое слово, проговорил:

– Я вижу, вы, сударь, не из робких. Оно вполне понятно, если взять во внимание вашу профессию. Но, надеюсь, вы прекрасно понимаете, что мы с вами не можем расстаться, не расквитавшись друг с другом.

Яркая краска залила лицо Василия Григорьевича. Он только теперь понял, какие неприятные последствия может повлечь за собою эта его случайная ссора, и уже досадовал на себя, что зашел в этот герберг, досадовал на то, что вспылит. Былой страх снова охватил его. Он попал из огня да в полымя. Почти не зная существующих порядков, он часто слышал в Москве, что дуэли преследуются законом, что правительство очень косо смотрит на стычки с оружием в руках и что захваченным дуэлянтам не бывает пощады.

В словах измайловца звучал слишком ясный намек, и Василий Григорьевич уже не мог бы отказаться от дуэли, не выказав себя трусом. Трусом он никогда не был и тем более не хотел показать перед этими совершенно неизвестными ему людьми, что боится дуэли. Он гордо закинул голову и, смотря прямо в глаза офицеру, промолвил, стараясь говорить как можно спокойнее и как можно тверже:

– Я прекрасно понимаю, что вы ищете со мною ссоры... Не пойму только одного, неужели такие странные манеры, какие вы выказали по отношению ко мне, в нравах и обычаях русских офицеров? Не думайте, пожалуйста, что если я не ношу оружия, что если я не принадлежу к военному сословию, так испугаюсь ваших грозных намеков и еще более грозных взглядов. Впрочем, – прибавил он, – так как вы меня оскорбили первый, то, пожалуй, я готов удовольствоваться вашим извинением...

Измайловец дерзко расхохотался.

– Ох, сударь, да вы – комик, как я на вас погляжу! Ишь, скажите на милость, он считает, что я оскорбил его первый! Жестоко изволите заблуждаться. Оскорбление нанесли вы мне, и сатисфакции⁹ требую я у вас. А посему будьте столь любезны и сообщите мне, куда я могу прислать своих секундантов.

Этот вопрос поставил Баскакова в тупик. Он даже растерялся, но не потому, что ему неловко было сказать про то, что он остановился, приехав из Москвы, на грязноватом заезжем дворе, а потому, что не знал, проведет ли он там завтрашний день, так как, напуганный своими мыслями, боялся туда вернуться. Смутило его также и то, что у него не было ни души знакомой в Петербурге, что ему некого было пригласить в свои секунданты. Однако нужно же было выйти из этого неловкого положения, нужно же было ответить офицеру, очевидно нетерпеливо ждавшему его ответа. Обычная беспечность Баскакова взяла верх над страхами и сомнениями, закопошившимися было в его душе: он сам невольно улыбнулся, подумав о том, в каком безвыходном положении находится теперь, и совсем весело обратился к своему неожиданному сопернику:

⁹ Сатисфакция – удовлетворение за оскорбление чести, дуэль с оскорбителем.

– Вот что, сударь, я не отказываюсь, конечно, от дуэли с вами, я никогда не был трусом и тем паче не буду им теперь, но должен вам признаться откровенно, что в приневской столице я – совсем новый человек, что здесь буквально никто меня не знает и я никого не знаю. А посему, уж если вы делаете мне такую честь, выходя со мной на поединок, сделайте и другую честь: укажите, по-первых, куда я должен явиться завтра для встречи с вами, а также захватите секундантов и на мою долю.

Измайловец переглянулся со своим товарищем. На их лицах сначала проскользнуло недоумение, которое затем сменилось насмешливой улыбкой; глаза их, очевидно, сказали друг другу очень многое, и затем офицер, обращаясь снова к Баскакову, сказал:

– Я, конечно, государь мой, не стану уличать вас во лжи, потому что и мне, и моему товарищу очень хорошо ведомо, что вы человек в приневской столице далеко не новый. Из всего, что вы мне сказали, я заключаю только, что вам во что бы то ни стало хочется ускользнуть от меня; но так как я не имею ни малейшего желания выпустить вас из своих рук, то готов признать, что вы человек в Петербурге никому не ведомый, что у вас никого знакомых в Петербурге в данное время, может быть, и нет, что секундантов вы достать не можете, и посему предлагаю вам следующее: до Царицына луга здесь очень недалеко; и у вас, и у меня есть шпаги, пойдемте туда и рассчитаемся между собою. А вот мой товарищ, – кивнув в сторону брюнета, прибавил он, – будет и моим, и вашим секундантом.

– Но позвольте, – горячо возразил Баскаков, – кажется, как вызванный, я имею право выбирать оружие. Отчего это вам желательно драться на шпагах, когда мне, может быть, желательна дуэль на пистолетах?

По губам измайловца пробежала усмешка.

– Я нисколько не сомневаюсь, что, может быть, дуэль на пистолетах вам и более желательна, но нам уж придется остановиться на шпаге; во-первых, потому, что у нас с вами под руками пистолетов нет, во-вторых, оттого, что выстрел очень шумен и может обратить на себя чье-нибудь внимание, а мне этого совсем не хочется, а в-третьих – у меня явилось непреодолимое желание убить вас, что я, может быть, с успехом и сделаю, так как очень недурно владею шпагой. Впрочем, сударь, – добавил он все с тою же ехидной усмешкой, – считаю своим священным долгом предупредить вас, что, буде вы не пожелаете дать мне сатисфакцию, буде вы тотчас же не отправитесь со мною и с моим приятелем на Царицын луг, то я хотя и с величайшим сожалением, но принужден буду проткнуть вас своей шпагой немедленно! – И он угрожающе положил руку на эфес своей шпаги.

– То есть, – немного бледнея, спросил Василий Григорьевич, – вы пойдете на убийство?

– Вы не ошиблись, сударь, – с ироническим поклоном ответил измайловец, – мне ваша физиономия так не нравится, что я даже пойду на убийство.

Баскаков на мгновение задумался, но тень тотчас же сбежала с его лица. Он попал в ловушку, и нечего было сомневаться, что этот офицер, лицо которого казалось молодому человеку очень симпатичным, действительно может убить его. Кричать и звать на помощь Василию Григорьевичу совсем не хотелось: он этим прямо бы отдал себя в руки бироновских сыщиков, которые, может быть, уж гоняются за ним; следовательно, не оставалось ничего более, как согласиться на эту вынужденную дуэль. Тут у него все-таки были шансы на удачу. Он готовился к военной службе, и, если бы не тетка, которая почему-то считала его здоровье очень слабым, он, наверное, теперь и сам бы носил офицерский мундир. В былое время Баскаков очень усердно занимался фехтованием, очень недурно владел шпагой и был вполне убежден, что он не позволит зарезать себя, как цыпленка, а может быть, даже сумеет отплатить этому дерзкому офицеру хорошим ударом. Мысли эти молнией пробежали у него в голове, согнали мрачную дымку, набежавшую было на его лицо, и на его губах задрожала опять веселая, беспечная улыбка.

– Я к вашим услугам, государи мои, – проговорил он, накидывая на себя плащ.

Затем он подошел к прилавку, за которым сидела буфетчица, побледневшая как смерть, как только началась эта страшная ссора. В то время такие ссоры были не редкость, девушка привыкла к ним, но красивое лицо Баскакова произвело на нее слишком приятное впечатление, и, слушая разговор молодого человека с измайловцем, она всей душой была на стороне первого. Когда Баскаков подошел к ней, она обдала его таким участливым взглядом, что это невольно тронуло Василия Григорьевича.

– Сколько я вам должен, моя красавица? – спросил он.

– Два рубля, – прошептала она вздрагивающим голосом. – Зачем вы идете с ними? – прибавила она шепотом. – Хотите, я позову полицейский обход, и они не посмеют придирааться к вам. Ведь они могут вас убить?

– Не бойтесь за меня, моя прелесть! – улыбаясь, заметил Василий Григорьевич. – Убить они меня не убьют, а уклоняться от вызова я не хочу и не могу. Прощайте, душечка, или, верней, до свидания, потому что я убежден, что мы еще с вами увидимся.

– Помогите вам Бог! – прошептала она опять.

– Идем, сударь, идем! – крикнул от двери измайловец. – Вы чересчур долго беседуете с этим чухонским купидоном. Если вы не умрете от моей руки, вам никто не мешает тотчас же вернуться обратно. – И измайловец распахнул дверь, в то же время оглядываясь, чтобы убедиться, следует ли за ними Баскаков.

Они молча дошли до угла Фонтанки, затем повернули ее берегом и направились в сторону Царицына луга. Дождь перестал. Небо было затянуто тучами, но вечерний мрак, окутавший петербургские улицы, уступил место какой-то сероватой туманной мгле. Резкий ветер, шумя мутными водами Фонтанки, налетал на берег, злясь и воя, пронесился мимо Баскакова и его спутников и, обдавая их своим ледяным дыханием, заставлял зябко ежиться и вздрагивать.

Когда они вышли на Царицын луг, ночная мгла казалась еще бледнее; здесь чувствовалась резкая сырость, которая, поднимаясь от влажной, пропитанной дождями почвы, носилась в воздухе густыми волнами сероватого тумана. Нога скользила на мокрой земле, и не прошло и нескольких минут, как ноги пешеходов были промочены насквозь.

– Ну-с, сударь, – проговорил, обращаясь к Баскакову, измайловец, – мы, конечно, не будем пускаться в лишние разговоры, не будем, понятно, толковать о примирении, а прямо приступим к делу. Вынимайте вашу шпагу из ножен и помолитесь Богу, если вы еще не продали свою душу черту.

Баскаков скинул свой плащ прямо на землю, бросил на него шляпу и, тряхнув своими густыми, коротко стриженными кудрями, вытащил шпагу из ножен. В то же время он стал как можно тверже всей подошвой сапога на скользкую землю и приготовился отражать удары противника. Несмотря на то что было уже очень поздно, несмотря на то что со всех сторон надвинулся ночной мрак, он прекрасно видел в этом белесоватом сумраке своего противника, видел все его движения и радовался от души, что ночные тени не лежали гуще.

Измайловец не заставил себя ждать. Его шпага сверкнула серебристой полоской и звонко ударилась о клинок Баскакова, которым тот отпарировал удар. Василий Григорьевич фехтовал не только очень недурно, но даже совсем хорошо. В продолжение нескольких минут его противнику даже не удалось тронуть его ни разу, несмотря на рискованные вольты¹⁰ французской школы: его шпага, сверкавшая, как молния, встречалась всюду со шпагой Баскакова, и измайловец скоро понял, что имеет дело с очень серьезным соперником. Баскаков пока еще не нападал, он только защищался, но и по тому, как он вел защиту, измайловскому офицеру было ясно, что не так-то легко будет справиться с этим человеком, которого ему не только хотелось, но даже было нужно убить. Поэтому он решил раздражить своего противника, заставить его потерять хладнокровие и, продолжая делать выпады, сказал:

¹⁰ Вольта – легкая шелковистая хлопчатобумажная ткань для пошива женского платья и белья.

– Однако вы, сударь, ловко владеете шпагой; я никак не ожидал этого... Я думал, что вы умеете владеть только топором.

Василий Григорьевич совершенно не понял этой странной фразы, имевшей, без сомнения, какой-то особенный смысл, и возразил:

– В этом решительно нет ничего странного. Я случайно пошел в гражданскую службу, а прежде готовился к военной и с большой любовью занимался фехтованием.

– Ну, такие люди, как вы, для военной службы негодны.

– Это почему?

– Потому что солдат должен уметь проливать свою кровь в открытой схватке с врагом, а господа, подобные вам, нападают только исподтишка, только из засады. Впрочем, – прибавил измайловец с явной иронией, – служат и такие в войске – говорят, что шпионы нужны и на войне.

Эта странная фраза заставила Баскакова вспыхнуть от обиды; она его хлестнула, точно удар бича; в нем забушевала злоба, рука его дрогнула, он сделал неправильное движение, и в то же самое время шпага измайловца кольнула его в плечо. Жгучая боль от нанесенной раны разозлила его еще сильнее, и он, совсем забыв себя от гнева, перестал защищаться, сам перешел в нападение, быстрым ударом отбил клинок противника, направленный ему прямо в грудь, и всадил свою шпагу почти до половины в грудь измайловца. Тот вскрикнул, выронил шпагу из рук и, потеряв сознание, тяжело рухнул на землю. Его приятель, все время безмолвно следивший за ходом поединка, увидев, что офицер упал, быстро обнажил свою шпагу и бросился на Баскакова.

– Вы его убили! – крикнул он. – Но не радуйтесь, вам еще придется иметь дело со мной!

Василий Григорьевич резко отпарировал его удар, но в то же время сказал:

– Я ничего не имею против того, чтобы и вас так же положить к своим ногам, но скажите мне, ради бога, почему и вашему приятелю, и вам пришло такое странное желание отделаться от меня? К чему вы со мной затеяли ссору, к чему, наконец, против всяких правил вы теперь скрестили свою шпагу с моей?

– Потому что мы должны убить тебя, потому что нам необходимо уничтожить такого зоркого шпиона, каким считаешься ты.

Говоря это, он продолжал нападать. Василий Григорьевич, изумленный донельзя, ловя острием своей шпаги его клинок, отозвался:

– Да вы, сударь, жестоко ошиблись, вы, очевидно, приняли меня совсем не за того; я вас в жизни вижу первый раз и, клянусь вам Богом, не только никогда не был шпионом, но всего только третий день, как приехал в Петербург.

Он произнес эту фразу таким горячим, убедительным тоном, что приятель измайловца отступил на шаг и опустил свою шпагу.

– Неужели же нас ввело в заблуждение сходство? – пробормотал он. – Но ведь этого быть не может, я бы готов был поклясться, что вы – не кто иной, как тот человек, который нас преследовал так долго и от которого нам необходимо было избавиться.

Как ни был грустно настроен Василий Григорьевич, как ни тяжело ему было сознавать, что он хотя и против воли, но обагрив себя человеческой кровью, что он, может быть, сделался убийцей, но он рассмеялся.

– Уверяю вас, – проговорил он, – что я никогда никого не преследовал и, может быть, даже сам, не сегодня, так завтра, попаду в руки бироновских палачей. Я – москвич, никогда не жил в Петербурге и приехал сюда совершенно случайно.

– Если это так, то это положительно невероятно. Но скажите, ради бога, как же вас зовут?

– С этого нужно было начать, сударь, – улыбаясь, отозвался Баскаков. – Я – чиновник московского отделения берг-коллегии¹¹, и зовут меня Василием Баскаковым.

– Баскаковым... – изумленно протянул приятель измайловца, – да вы не приходите ли родственником Николаю Львовичу Баскакову?

– Двоюродный его брат, государь мой.

– Фу-ты, черт! – воскликнул тот. – Вот так оказия! Бывали со мной всякие случаи, а о таком и помышлять не приходилось. Ну, скажите на милость, только того и не хватало, чтобы двоюродного брата моего задушевного друга Николашки чуть-чуть на тот свет не отправить. Простите меня, ради бога! – И, быстро вложив шпагу в ножны, он подошел к Василию Григорьевичу и протянул ему руку. – Позвольте, кстати, и познакомиться. Зовут меня Лихаревым, а величают Антоном Петровичем. Мы с Николаем Баскаковым – давние друзья, и я очень рад нашей встрече, хотя и случившейся при таких странных обстоятельствах, еще раз простите меня!

– Я-то вас прощу с удовольствием, – пожимая руку нового знакомого, отозвался Баскаков, – а вот простит ли он нас с вами. – Он грустным жестом указал на лежавшее на земле бесчувственное тело пораженного его шпагой измайловца.

– Неужели вы убили его?

– Не знаю, но, во всяком случае, мой удар был не из легких.

Они торопливо склонились над офицером и расслышали тихое дыхание, с хрипом вырывавшееся из его груди.

– Слава богу, жив! – воскликнул Баскаков. – Теперь нужно его куда-нибудь поскорее отнести, потому что оставлять его на сыром воздухе было бы хуже убийства.

– Если вы только поможете мне, – проговорил Лихарев, – то в таком случае нам не придется идти далеко. В нескольких десятках шагов отсюда, на Фонтанке, дом его дяди, и вы сделаете доброе дело, если не покинете его в таком беспомощном положении.

– Да в этом нечего и сомневаться, – отозвался Василий Григорьевич, – понесем его, и как можно скорее.

Они молча подняли слабо дышавшего офицера и, медленно подвигаясь по скользкой земле, стараясь по возможности нести его как можно осторожнее, направились в сторону Фонтанки, с которой по-прежнему налетал резкий, леденящий ветер.

¹¹ Берг-коллегия – горное присутственное место.

III

Новые друзья

Петербург времен Анны Иоанновны уже не походил на Петербург петровских дней, но все еще тесно кучился, огражденный с одной стороны Фонтанкой, с другой – Невой, с третьей – казармами Измайловского полка, а с четвертой – аллеями Летнего сада. Петровские мазанки уже уступали место более красивым и более высоким зданиям, но, как бы то ни было, еще многие части Петербурга казались какими-то жалкими деревушками и были застроены сплошь маленькими одноэтажными деревянными домами. Только на Английской набережной, на Миллионной да на Морских уже появились красивые фасады с колоннами, с причудливыми фронтонами, с лепными украшениями над подъездами, но даже на Невской перспективе каменные дома чередовались с деревянными лачугами, казавшимися какими-то жалкими карликами, случайно очутившимися в соседстве великанов. За Фонтанкой уже был сплошной лес, в котором некоторые богатые бары построили свои загородные дома и в котором зачастую находились разбойничьи шайки, совершавшие свои смелые набеги на центральные части города, не страшась ни разъезжавших по городским улицам пикетов, ни полицейских стражников.

Но на городской части набережной Фонтанки было немало богатых домов: между прочим, тут стояли дома шталмейстера Кошелева, гофмейстера¹² Шепелева, денщика Петра Великого графа Петра Чернышева, князя Куракина и многих других. Между прочим, как раз рядом с домом Куракина стоял двухэтажный каменный дом, отстроенный очень недавно и окруженный высоким забором, за которым печально теперь шумели уже обнаженные от листьев громадные деревья. Этот дом некогда принадлежал князю Волконскому и в начале царствования Анны Иоанновны был куплен генерал-поручиком Левашевым, теперь уже удалившимся на покой и доживавшим последние дни, заботясь только об одном, чтоб его забыли при дворе так же, как он забыл этот двор, служба при котором не принесла ему ничего, кроме неприятностей да тяжелой болезни. Василий Яковлевич Левашев вдовел уже после второй жены и жил вместе со своей дочерью от второго брака Маней, девятнадцатилетней девушкой, и своим племянником, носившим тоже фамилию Левашев и бывшим поручиком в Измайловском полку.

Было уже очень поздно, Василий Яковлевич спал, Маня готовилась ко сну, раздеваясь в своей комнате, когда раздавшийся громкий стук в ворота переполюшил всю прислугу левашевского дома, разбудил старого генерала и заставил молодую девушку подбежать к окну и с тревогой взглянуть в темную мглу ночи. На дворе мелькали огни фонарей, слышались голоса, бежали люди.

В то тревожное время, когда человеческая жизнь стоила очень дешево, когда в застенках Тайной канцелярии томились порой не только сотни, но целые тысячи людей, когда одного неосторожного слова, одного неосторожного взгляда было достаточно, чтобы попасть в опалу к всевышнему временщику, не задумываясь проливавшему человеческую кровь, – в это печальное время бироновские сыщики совершенно свободно врываются в дома даже самых знатных вельмож, чуть ли не в постели хватали тех людей, на которых падал гневный взгляд Бирона, которых или выдавали, или оговаривали, пытаемые палачами Тайной канцелярии.

Совершенно понятно, что, когда молодая девушка услышала этот шум, когда она увидела огоньки фонарей, неясными светляками дрожавшие в туманной мгле, ей показалось, что это нагрянули бироновские клеветы¹³, и ее сердце сжалось от ужаса... Однако, как ни перетрусила Маня, она торопливо накинула на себя уже снятое платье, быстро набросила на плечи платок и выбежала из своей комнаты, чтобы узнать, что значит этот внезапный переполох, чтобы хоть

¹² Гофмейстер – придворный чиновник, ведавший канцелярией, почетное придворное звание.

¹³ Клевет – приспешник, приверженец, не брезгающий ничем, чтобы угодить своему покровителю.

чем-нибудь помочь старику отцу, если только это будет в ее силах. Не успела она пробежать и нескольких комнат, как столкнулась со старым дворецким Михайлычем, который, очевидно, бежал ей навстречу и теперь, задыхаясь от быстрого бега, бледный как полотно, воскликнул:

– Ах, барышня, барышня, какое несчастье!

Маня, и без того напуганная, теперь буквально похолодела.

– Что случилось, Михайлыч?

Старик всплеснул руками.

– И сказать-то боюсь; вы уж не пужайтесь оченно-то, может, даст Бог, выживет.

Девушка пошатнулась, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, и едва удержалась за спинку подвернувшегося под руку кресла.

– Кто выживет? – воскликнула она. – Что ты болтаешь? О ком ты говоришь? Разве с батюшкой что приключилось?

Дворецкий отмахнулся рукой:

– Да нет, сударыня, я не про то! Их превосходительство, слава тебе господи, в добром здравии пребывают, а с братцем вашим, с молодым барином, несчастье приключилось.

– С Митей?

– Так точно-с.

– Да что же такое, не томи ты, ради бога!

– Привезли его, значит, и едва они дышат, потому как с кем-то на дуэли дрались... совсем ровно мертвый.

Девушка уже не слушала старика. Она опрометью бросилась вниз, в комнаты своего дворянского брата, и, вбежав туда, увидела Митю лежавшим на диване, бледным как смерть, с еле заметно вздымавшейся грудью, а около него Лихарева и какого-то совершенно незнакомого ей господина, который был не кто иной, как Баскаков. Лихарева она хорошо знала, Баскакова же приняла за доктора, и потому, не обращая никакого внимания на то, что едва одета, что через плохо застегнутое платье просвечивает тело, она бросилась к постели брата и, пытливо вглядываясь в его мертвенно-бледное лицо, стала жадно прислушиваться к его хриплому дыханию. Лихарев быстро подошел к ней и проговорил:

– Не волнуйтесь, Марья Васильевна; ничего опасного решительно нет, мы уже послали за доктором, и, кроме того, я осмотрел рану, и рана совсем не серьезна... я поручусь головой, что через две недели он будет снова на ногах.

– За доктором? – удивленно переспросила девушка, бросая пытливый взгляд на незнакомое ей лицо Баскакова.

– Да, да, нужно сделать ему перевязку, а кстати, дать чего-нибудь успокоительного.

– Он дрался на дуэли? – спросила девушка.

Лихарев покраснел, замялся, но потом, вспомнив, что лгать совершенно бесполезно, что причина раны Левашева чересчур ясна, кивнул:

– Да, у него вышла небольшая стычка.

– С кем?

Лихарев опять замялся; на этот вопрос было ответить гораздо труднее, так как приходилось назвать Баскакова, бывшего здесь же. Но его выручил сам Василий Григорьевич.

– Вы хотите знать с кем? – сказал он. – Со мною.

Маня вздрогнула и почти отшатнулась в сторону.

– С вами? – протянула она изумленно, и в ее глубоких черных глазах засверкали гневные огоньки.

По лицу Василия Григорьевича пробежала печальная улыбка.

– Вы, конечно, изумлены тем, что я, убийца вашего брата, нахожусь в вашем доме; но я не мог оставить его беспомощным на сыром воздухе и помог господину Лихареву донести своего противника сюда, а во-вторых...

– Во-вторых, – быстро перебил Лихарев, уже оправившийся от смущения, – во-вторых, я должен сказать всю правду, и вы, конечно, поверите мне, Марья Васильевна, так как я никогда не лгал. Он, – и он кивнул на Баскакова, – не только не может быть назван убийцей, но и я, и Дмитрий глубоко виноваты перед ним. Эта дуэль вышла по какому-то роковому недоразумению. Мы затеяли с господином Баскаковым ссору, мы хотели его убить, но, к счастью, Бог не допустил этого.

Девушка изумленно расширила глаза.

– Убить!.. – прошептала она. – За что?

– Я говорю, что тут вышло роковое недоразумение. Все дело в том, что мы приняли господина Баскакова за другого, за нашего врага. Я бы не сказал этого, – продолжал он, – но я не хочу, чтоб вы его в чем-нибудь обвиняли, чтоб вы относились к нему враждебно, и вы сделаете очень хорошо, если протянете ему руку, тем более что он – родственник знакомого вам человека, он – двоюродный брат Николая Баскакова.

Маня, проникшаяся безотчетной симпатией к Василию Григорьевичу при первом взгляде, упавшем на его красивое лицо, была скорее опечалена, чем возмущена тем, что этот такой красивый, такой симпатичный молодой человек оказался убийцей ее кузена. Теперь же, когда она услышала слова Лихарева, ее сердце радостно забилося, и она, покраснев и потупив глаза, протянула Баскакову руку, но в то самое время, когда Василий Григорьевич робко коснулся своей рукой ее руки, она заметила беспорядок в своей одежде, заметила расстегнутую грудь платья и, вспыхнув до корней волос, быстро выбежала из комнаты, чуть не сбив с ног старичка Германа, бывшего их домашним врачом и входившего в это время в дверь.

Лихарев не ошибся. Рана, которую нанесла Левашеву шпага его противника, оказалась не из опасных. Старик немец осмотрел рану, перевязал ее и затем, кивая и пощелкивая по крышке табакерки, которую держал в руках, заявил уверенным тоном:

– Ню, ню, нишего, это – глупство, фиртцейн таге – и он будет здоров... завсем молодец будет.

Когда доктор ушел и молодые люди остались одни, Василий Григорьевич стал было прощаться, но Антон Петрович удержал его:

– Куда же вы пойдете, на ночь-то глядя? Переночуйте лучше здесь; я думаю, что Дмитрий очнется к утру и будет очень рад увидиться с вами; тем более что, если это будет возможно, ему нужно объяснить нашу роковую ошибку.

Баскаков покраснел и задумался. Это предложение как нельзя более было ему на руку, так как мысль вернуться на заезжий двор, где он остановился, ему совсем не улыбалась. Кроме того, Василий Григорьевич до сих пор все еще страшился возможности быть захваченным бироновскими шпионами, а кстати, так как он не успел расспросить Лихарева дорогой, ему представлялась возможность расспросить своего нового знакомого о судьбе двоюродного брата, так как тот назвался его приятелем и, наверно, должен был что-нибудь о нем слышать.

– Ночевать я, конечно, здесь не останусь, – сказал он, – это было бы уж совсем неловко; а если позволите, я посижу немного здесь, тем более что мне хотелось бы кой о чем потолковать с вами.

– Я очень рад чем-нибудь услужить вам, – отозвался Лихарев, – но в таком случае, чтобы не тревожить нашего больного, перейдем в соседнюю комнату, там нам никто не мешает. – И, отворив дверь, он жестом пригласил Баскакова следовать за собою.

Комната, в которую они вошли, была, очевидно, кабинетом. Громадное бюро красного дерева с бронзовыми скобами, изображавшими львиные головки, стояло между окнами; рядом с ним помещалась этажерка, на которой Василий Григорьевич заметил книги в тяжелых сафьянных переплетах. Немного подальше выдвинулся массивный, крытый сафьяном, диван, и несколько таких же массивных кресел стояло у противоположной стены. Над диваном висел портрет молодой девушки, в котором Баскаков без труда узнал только что виденную им кузину

Левашева, а немного пониже, между рамой портрета и венчиком диванной спинки, виднелись две сложенные крест-накрест рапиры¹⁴. Лихарев сел на диван, указал своему спутнику место рядом с собою и затем проговорил:

– То есть, поверите ли, если бы я не видел вас перед собою, все то, что произошло только что, показалось бы мне совсем непонятным сном. Ведь бывает же такое странное сходство! Вот гляжу я на вас теперь и прямо глазам своим не верю. Понимаете ли, вы похожи на того человека до мелочей: и рост, и фигура, и лицо совершенно одни и те же: даже ваш голос походит звуком на его голос, это – прямо наваждение какое-то! – И он развел руками.

– Но скажите же, ради бога, – сказал Баскаков, – кто же это он, этот таинственный незнакомец, благодаря сходству с которым я чуть-чуть не убил человека и чуть-чуть не убили меня самого?..

Антон Петрович задумался на несколько мгновений.

– Я не могу сказать вам его имя, – после небольшого раздумья промолвил он, – я не имею права посвящать вас в чужую тайну, но скажу вам только одно: если вы случайно где бы то ни было встретите человека, который будет похож на вас так же, как вы похожи на собственное отражение в зеркале, – бегите от него без оглядки! Этот человек способен на все дурное, а если он случайно только узнает, что в ваших руках была жизнь Левашева и тот остался жив, – он вам никогда не простит этого. И берегитесь его мести! Я не могу вам сказать ничего больше, но, может быть, со временем вы сами, встретив этого человека, поступите с ним так же, как поступили сегодня мы с вами, и не оставите ему жизни.

Василий Григорьевич невольно вздрогнул от этих слов; какое-то странное предчувствие сжало его сердце: он был почти уверен, что ему придется столкнуться со своим двойником.

– Я не буду настаивать, – проговорил он, – не буду выведывать от вас чужой тайны, вы меня плохо знаете и не должны питать к незнакомому человеку доверия – это совершенно понятно, но я вам верю и никогда не забуду вашего совета. Но теперь скажите мне, пожалуйста, что вы знаете о моем двоюродном брате? Вы сказали, что вы – его приятель. Вот я три дня хожу в иностранную коллегия, три дня добиваюсь узнать, жив ли он, и ничего не могу добиться, кроме ответа: «Мы не знаем».

По губам собеседника Баскакова пробежала легкая усмешка.

– Скажите мне, собственно, для чего вам нужно знать, где находится ваш брат?

– Ах, боже мой! Да затем, чтобы увидеться с ним – ведь мы с ним не видались почти целых четыре года... И, наконец, меня прямо пугает его неведомое отсутствие. Говорят, что уже два месяца, как он уехал из Берлина, что он уже целый месяц находится в Петербурге, а я совершенно не могу разыскать его следов. Вы знаете, мне даже пришло в голову, что он пропал в застенках Тайной канцелярии.

– Свят, свят, свят!.. – с комическим ужасом воскликнул Лихарев. – Не поминайте, да еще в ночи, про это никому не любезное учреждение. Нет, можете успокоиться, Николай не сделал ничего такого, чтобы очутиться в руках бироновских палачей, и даже пользуется большим благоволением некоторых особ, которые защитят его от шпионов господина Ушакова.

Василий Григорьевич облегченно вздохнул. Теперь он готов был благословлять судьбу, столкнувшую его в герберге с Левашевым и его приятелем, и, если б только это столкновение не имело такого печального исхода, он был бы вполне счастлив. Если Николай невредим и на него не пали грозные очи начальника Тайной канцелярии, значит, нечего опасаться и ему самому, значит, нечего и тревожиться, и пугаться тех страхов, какие рисовало ему давеча его воображение. И, крепко пожимая руку Антону Петровичу, он сказал:

– Не знаю, как и благодарить вас, вы меня просто воскресили. Но скажите мне, где же Николай? В Петербурге или где в ином месте?

¹⁴ Рапира – колющее оружие с гибким клинком, тупая шпага.

Лихарев опять улыбнулся:

– Вот этого опять не скажу, это – опять не моя тайна. Одно могу сказать – ваш братец здоров, жив, невредим и в полном благополучии.

– Но ведь мне хотелось бы его увидеть!

– И увидите, и, весьма вероятно, очень скоро. Скажу вам так, по секрету, что я даже извещу его о вашем присутствии в приневской столице.

– Мне ничего больше и не надо, и за это спасибо. Передайте ему только, чтобы он не долго скрывался, так как мне совсем не улыбается петербургская жизнь и я тотчас же после свидания с ним удеру в Москву.

– Али наша столица не пришлась по вкусу? – усмехаясь, спросил Лихарев.

– Какое! – воскликнул Василий Григорьевич. – Я в Москве совсем иное думал, а теперь скажу, что если и ввек Питера не видать, так и то бог с ним. Что это за город такой, где вместо жизни слякоть да уныние да люди на людей ни за что ни про что со шпагами кидаются?

– Это, так сказать, в наш огород? На это уж вы не посетуйте, такова, видно, судьба. Мите за это вы здорово отплатили, а меня простите – повинную приношу. Вольно ж вам такое сходство иметь с человеком, которого неведомо как еще земля держит. А впрочем, как видите, все к лучшему. Не походи вы на того мерзавца – не вышло бы между нами ссоры, не выйди ссоры – мы бы не познакомились, а не познакомься – так бы вы и слонялись по Петербургу, разыскивая Николая и не зная, куда он подевался. Ну а теперь иное дело, так что вам гневаться не след.

– Да я об этом и не говорю. Что до меня, так я всему этому очень рад и главным образом рад знакомству с вами.

– И я от души рад – значит, будем знакомы. Захаживайте ко мне, я живу отсюда недалеко, в доме Шнитцлера, на углу Адмиралтейской и Мойки. Заходите, я всегда буду вам от души рад. Кстати, вам все равно придется ко мне зайти, чтобы узнать, когда вы можете повидаться с Николаем...

Они крепко пожали друг другу руку и расстались друзьями. Баскаков, совершенно успокоившийся и освободившийся от угнетавшего его ранее страха, отправился на заезжий двор.

IV

В летнем дворце

В Летнем дворце царила зловещая тишина. Еще недавно шумный и оживленный, он был погружен теперь в тягостное безмолвие. Призрак смерти повеял над ним своим холодным дыханием и спугнул отсюда былое веселье и былое оживление. Императрица Анна Иоанновна умирала. Несколько дней тому назад, еще вполне бодрая, оживленная, она и не предполагала, что смерть стоит уже за ее плечами, что не пройдет и недели, как душа отлетит из ее тела. Впрочем, как говорили, у императрицы было предчувствие своей близкой кончины. Несколько дней тому назад, сидя за карточным столом и играя с Бироном, Головкиным и Остерманом в ломбер¹⁵, Анна Иоанновна вдруг побледнела как смерть, отшатнулась и быстро, несмотря на свою полноту, в особенности отягощавшую ее в последнее время, поднялась со своего кресла. Когда ее партнеры, удивленно взглянув на нее, спросили, чего она испугалась, императрица дрожащим голосом ответила:

– Мне показалось, что мои карты залиты кровью; это – очень скверный признак... Мне кажется, что я скоро умру.

Ее, конечно, успокоили, постарались это объяснить приливом крови к голове. Императрица мало-помалу забыла о своей галлюцинации и даже снова оживилась, но не прошло и дня, как с нею повторилась галлюцинация и уже в более серьезных размерах.

Об этом, конечно, говорили только шепотом, рассказывали в разных вариантах, но рассказы сводились к тому, что Анна Иоанновна видела своего двойника и видела не только одна, но что с нею вместе видел этого двойника и Бирон, видели и солдаты Измайловского полка, стоявшие в карауле у дверей тронной залы.

Как говорили толки, было уже за полночь, когда часовой, стоявший в тронной зале, заметил вышедшую из внутренних покоев императрицу, одетую в парадное платье. Императрица прошла мимо часового, который поспешил отдать ей честь, но лицо государыни было задумчиво, взор ее был опущен к полу, и она как бы даже и не видела часового. Часовой позвал караул, солдаты выстроились, караульный офицер отсалютовал шпагой, но императрица не заметила этого и продолжала тем же мерным медленным шагом ходить по зале. Так прошло около получаса. Офицера смутила такая продолжительная прогулка в ночное время, и он направился на половину Бирона, чтобы сообщить ему о том, где находится императрица. И тот страшно удивился и воскликнул, что этого не может быть, что он только что сейчас проводил императрицу, которая пошла спать. И, смущенный сообщением офицера, Бирон отправился в залу, входит и видит, что действительно императрица медленным шагом проходит мимо него, но что-то странное поразило Бирона в облике государыни. Это была Анна Иоанновна, но не та, которую он знал, которую он привык видеть, с которой он только что простился. Сходство было поразительное, но ему показалось, что это – или обман зрения, или какая-то самозванка, надевшая на себя императорскую корону и воспользовавшаяся сходством с императрицей. Тогда Бирон бросился в спальню государыни, которая уже разделась и сидела в пудермантеле¹⁶, собираясь лечь в постель. Бирон сообщил ей о странном появлении какой-то самозванки и советовал ей выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобличить эту ложную императрицу, которая может воспользоваться замешательством солдат. Императрица отправилась в тронную залу и, едва переступив порог, обомлела от ужаса: она видела в двух шагах от себя женщину, которая была как две капли воды похожа на нее и которая, нисколько не смущаясь,

¹⁵ Ломбер – вид карточной игры.

¹⁶ Пудермантель (нем.) – накидка, надеваемая во время причесывания для защиты от пудры, которой посыпали парики и волосы в XVIII в.

стояла с ней лицом к лицу. Но, только Анна Иоанновна хотела приказать солдатам схватить эту самозванку, только она подошла к ней и спросила: «Кто ты? Зачем ты пришла?» – ложная императрица стала медленно отступать к трону, взошла на него, не спуская глаз с Анны Иоанновны, и затем исчезла, точно растаяла в воздухе. Императрица вздрогнула, побледнела и, обращаясь к Бирону, проговорила:

– Я знаю ее, это – моя смерть, она приходила за мной.

Предчувствия не обманули Анну Иоанновну. Через три дня после того, как государыня увидела это странное привидение, она внезапно заболела и слегла в постель. Придворные врачи определили простуду, пускали ей кровь, ставили мушки, но Анне Иоанновне становилось все хуже и хуже, и она уже чувствовала над собой леденящее веяние крыльев смерти.

Придворные приуныли, Бирон растерялся. Всесильный временщик, в течение десяти лет пользовавшийся неограниченным влиянием на государыню, распоряжавшийся судьбами России, ссылавший и казнивший русских людей, понял, что с ее смертью для него будет все кончено, что его владычеству настанет конец и что, может быть, ему придется и очень тяжело заплатить за все раны, какие он нанес России, за все свое самовластие, за всю свою жестокость, за всех двадцать тысяч человек, сосланных и казненных им. Бледный и трепещущий стоял он теперь у постели, на которой умирала императрица. Ей сегодня было немного лучше, хотя дыхание у нее все-таки было прерывисто, а на обрюзгшем лице лежали темные тени. Она поглядела на Бирона, стоявшего около постели склонив голову на грудь, и прошептала:

– Я умираю, мой друг.

– И уносите с собой и мое счастье, и мою жизнь, – глухим голосом отозвался Бирон.

– Ты боишься моей смерти?

– Ваше величество знает, что у меня нет друзей. На верной службе вашему величеству я приобрел только врагов, которые видят во мне иноземца, которые ненавидят меня всей душой, и, не успеет ваша священная душа улететь на небо, они, конечно, не поцеремонятся со мной, и мы, может быть, очень скоро свидимся с вами.

На его глазах засверкали непритворные слезы.

Грустная улыбка тронула бледные губы государыни, и она тихо промолвила:

– Что ты хочешь, чтоб я сделала? Чем я могу упрочить твою власть? Ты мне был верным другом, и я не хочу, чтоб моя смерть принесла тебе, кроме печали, еще и большое горе.

Слезы сразу высохли на глазах Бирона, и они опять загорелись прежним стальным блеском.

– Я уже говорил вам, государыня, как вы можете вознаградить меня. Наследник престола еще младенец, принц Антон не в состоянии править государством, принцесса Анна Леопольдовна слишком слабая женщина, и было бы вполне справедливо, если бы вы поручили мне регентство¹⁷. Я уже стар, и мне бы удалось провести спокойно остаток своих дней, пока будущий император подрастет и примет из моих рук свою власть.

Императрица откинула голову на подушки, закрыла глаза и задумалась. Уже не в первый раз говорил ей это ее любимец, уже не один раз намекал он ей на то, что, только назначив его регентом, она может спасти его от козней врагов. Но Анне Иоанновне очень не хотелось этого. Как ни была она привязана к Бирону, она знала все дурные стороны его характера, знала его жестокосердие, знала то, что он не умеет прощать своим действительным и вымышленным врагам, и понимала, что если даже ей не удавалось сдерживать его дурные инстинкты, то тем менее его сумеют сдержать слабохарактерная Анна Леопольдовна и совершенно безвольный принц Антон. Но в то же самое время она сознавала, что если Бирон не останется у власти, если он потеряет прежнее обаяние, то его враги не пощадят его и с ее кончиной будет все кончено

¹⁷ Регент – правитель страны, опекун при малолетнем государе.

и для него. Ей было донельзя жалко его, она чересчур привыкла к нему в продолжение долгих семнадцати лет и чувствовала, что не в силах оставить его беззащитным на произвол судьбы.

– Хорошо, – промолвила она, открывая глаза и бросая тусклый взор на лицо Бирона, – хорошо, я исполню твою просьбу, Эрнст, но только дай мне клятву, что ты больше не будешь проливать человеческую кровь.

Сердце Бирона трепетно забилося от радости: он опустился на колени, схватил холодную и влажную руку императрицы и покрыл ее бесчисленными поцелуями.

– Ваше величество спасли мне мою голову, и клянусь вам, что я буду ныне совсем не таким, каким был прежде.

Но его уста не высказали тех тайных дум, которые в это время шевелились в его голове. Ему уже трудно было теперь усыпить свою кровожадность и подозрительность. Он знал хорошо, что, какие бы клятвы ни давал, он не сумеет и не сможет сдержать их.

Императрица скончалась, едва успев подписать манифест о регентстве и едва успев объявить об этом матери будущего императора Анне Леопольдовне и ее супругу.

Весть о кончине императрицы быстро разнеслась по Петербургу и ни в ком не вызвала больших сожалений. Бироновщина, ставшая словно символом только что окончившегося царствования, слишком истерзала Россию, и в глубине души многие даже обрадовались кончине императрицы, положившей конец и владычеству Бирона. Хотя все прекрасно знали, что принц Антон будет очень плохим правителем, что Анна Леопольдовна слишком ленива для того, чтобы держать в своих руках кормило правления, и что до совершеннолетия младенца императора Иоанна Шестого государственный корабль России, благодаря неумелым кормчим, может потерпеть серьезные аварии от многих политических бурь и гроз, но, во всяком случае, вздохнули свободно уже только потому, что кончились кровавые ужасы бироновского времени, так как знали родителей императора за безусловно добрых людей. Поэтому, когда флаг на шпигеле Летнего дворца спустился, извещая Петербург о смерти императрицы, печальные лица петербуржцев, печальные все эти дни, точно просветлели, и многие вздохнули так легко, как будто с их души скатилась страшная тяжесть.

Вздохнул, между прочим, облегченно и Василий Григорьевич Баскаков, со вчерашнего дня питавший к имени Бирона какой-то суеверный страх. Вчерашние размышления, хотя и успокоенные разговором с Лихаревым, все-таки оставили след в его душе, и он нет-нет да и возвращался мыслью к своим былым страхам и опасался теперь возможности попасть в застенки Тайной канцелярии если не по оговору своего двоюродного брата, так случайно, как случайно попадали туда очень многие люди. Он только что проснулся, а проснулся он очень поздно, что-то в часу десятом утра, – как хозяин заезжего двора, ражий¹⁸ здоровый купец, вошел в его комнату и сообщил ему печальную новость, о которой уж говорил весь Петербург, именно о кончине императрицы. Баскаков облегченно вздохнул и даже перекрестился. Но хозяин на это не обратил никакого внимания, тем более что этот крест мог относиться и к памяти покойной государыни.

– Теперь, сударь, – сказал купец, – у нас император Иоанн Шестой; младенец он еще – это точно, а только все же, кажись, легче будет жить, чем ранее! – прибавил он шепотом, сам тревожно озираясь на дверь.

Но Баскакову было не до разговоров с ним. Ему хотелось поскорее выйти на свежий воздух, подышать полной грудью, посмотреть на то, какое впечатление произвела кончина Анны Иоанновны, а вместе с нею и конец владычества Бирона. Он что-то ответил хозяину, отделался от него несколькими фразами, поспешно оделся и вышел на улицу.

Ему захотелось рассеяться, поговорить с кем-нибудь, поделиться теми впечатлениями, которые лежали у него на душе. Единственный человек, с которым он мог перекинуться

¹⁸ Ражий – здоровый, сильный, видный, крепкий, красивый.

несколькими фразами, единственный человек, которого он знал в этом громадном городе, был Лихарев, и к нему-то он решил отправиться теперь.

Лихарева он застал еще в халате; Антон Петрович, просидев у постели раненого друга почти до рассвета, вернулся домой и заснул тревожным сном, который прервал зашедший к нему по дороге преображенский поручик Милошев, явившийся специально только затем, чтобы поведать приятелю о кончине императрицы Анны Иоанновны.

Лихарев страшно обрадовался Василию Григорьевичу. Баскаков произвел на него самое лучшее впечатление, и он был очень доволен этим знакомством, завязавшимся очень оригинально, хотя и печально.

Дружески пожав руку молодому человеку, он познакомил его с Милошевым, казавшимся какой-то красной девицей, затянутой в офицерский мундир. Совсем юный, даже безусый, поручик Милошев совсем не производил впечатления бравого воина, какими в большинстве были все преображенские офицеры, и оправдывал свое сходство с девушкой не только своим юным видом, не только своими белокурыми курчавыми волосами, но в особенности тем, что при каждой фразе, обращенной к нему, на его полных щеках вспыхивал яркий румянец. И теперь, здороваясь с Баскаковым, он покраснел до корней волос и потупил свои серые глаза с таким странным видом, что Василий Григорьевич не мог удержаться от невольной улыбки.

– Ну, как вы провели сегодняшнюю ночь? – спросил Лихарев, когда Василий Григорьевич уселся. – Что до меня, так я спал отвратительно: только под утро забылся, да и то помешали. Вот пришел Милуша и разогнал мой сон.

– Я спал тоже не лучше вашего! – отозвался Баскаков. – Должно быть, ваш петербургский воздух способен убивать энергию даже в самых стойких людях.

– Ну, это, батенька, не оттого! Просто чересчур сильны были впечатления вчерашнего дня. Кстати, слышали новость?

– Слышал и даже обрадовался.

Милошев удивленно расширил глаза, а Антон Петрович воскликнул:

– Чему же тут радоваться? Событие, можно сказать, самое наипечальное.

Баскаков покраснел, точно школьник, которому дали урок, и смущенно проговорил:

– Вы меня не так поняли. Я обрадовался не тому, что скончалась императрица, я – русский человек, а для каждого русского траур императорской семьи является его собственным трауром; я порадовался потому, что не бывает худа без добра. Очень печально, что умерла государыня, но, воля ваша, я от души говорю слава богу, что с ее смертью пришел конец владычеству Бирона.

Милошев и Лихарев быстро переглянулись между собою.

– Эге, сударь! – проговорил Антон Петрович. – Так вы, стало быть, ничего не знаете. Опасно о таких вещах разговаривать, тем более вслух: но, с одной стороны, я могу поручиться за солидную толщину стен моей квартиры, а с другой – вы мне внушаете слишком большое доверие, чтобы я вас стал опасаться. В том-то и дело, что, к сожалению, владычество Бирона не кончилось, а еще более усилилось.

Баскаков вздрогнул и почувствовал, как по его коже точно прошла струйка холодной воды.

– Что вы говорите? – воскликнул он.

– Правду, Василий Григорьевич, истинную правду, вот, коли не верите, так Милушу спросите. Он мне все сие и поведал. Государыня перед кончиной над малолетним императором регентство учинила и регентом Бирона назначила – значит, он ныне еще в большей силе, чем прежде. Прежде он, можно сказать, хоть и кушал живьем людей, да все как-никак, а с опаской, а теперь так кушать будет, что только хруст пойдет.

Это сообщение совсем ошеломило Василия Григорьевича. Страхи его явились снова, и сердце забилося не только тревожно, но точно хотело выпрыгнуть из грудной клетки. Он

нервно взъерошил волосы, резко вскочил со стула, прошелся несколько раз по комнате крупными шагами и затем сказал:

– Ну, в таком разе прощайте! Ноне же я немедленно в Москву удеру... будет с меня и вчерашних страхов, и сегодняшней ночи. Там, по крайности, я хоть спал спокойно.

Лихарев расхохотался.

– Ого, сударь, здорово же вы напуганы!

– Напугаешься тут, ежели перед глазами то и дело красные рубахи мелькают, а в ушах, что ни минута, «слово и дело» слышится. Нет, кончено! Уезжаю.

– А как же вы Николашу-то хотели видеть?

– Бог с ним! – махнув рукой, промолвил Баскаков. – Коли пожелает нас видеть, может в Белокаменную приехать – не велик путь, а мне совсем своей головой рисковать не хочется; да я прямо изведусь здесь. Это уж ни на что не похоже.

– Как хотите, сударь, как хотите, удерживать вас не стану: и то сказать, большой радости у нас тут нет. Так вы и в самом деле сегодня уедете?

– Сегодня, сегодня, и мешкать не буду! Вот, сейчас к себе на заезжий двор отправлюсь, уложусь – и прямо на почтовую станцию.

– В таком разе прощайте. Жалко мне с вами расставаться, по душе вы мне как-то пришлись, – ну да делать нечего! Авось, Бог даст, увидимся...

Он крепко пожал руку Баскакова. Василий Григорьевич простился с Милошевым и, точно подгоняемый страхом, торопливыми шагами вышел из квартиры Лихарева.

V

На волосок от смерти

Баскаков крупным твердым шагом шел по мосткам, пробираясь на Невскую перспективу. Твердое решение, которое созрело в нем, нисколько не изменилось оттого, что теперь на улице стало как-то светлее, оттого, что тучи, закутывавшие небо, точно разорвались и с клочка освободившегося от них небосвода упал яркий солнечный луч, точно осыпавший золотой пылью за минуту до этого еще хмурый город, точно озаривший своим блеском петербуржцев, на лицах которых как бы задрожала легкая улыбка, словно вызванная в ответ на улыбку природы. Василий Григорьевич даже не заметил этой метаморфозы¹⁹: у него на душе было хмуро, и поэтому и дома, мимо которых он проходил, и сама улица, и дрожавший перед ним солнечный луч казались ему такими же хмурыми.

Нужно было переходить через дорогу. Погруженный в глубокую задумчивость, даже не обращая внимания на то, что он шагнул прямо в лужу, Василий Григорьевич стал переходить через улицу. В это самое время из-за угла вывернула тяжелая берлина, громыхавшая колесами по грязной мостовой. Кучер, сидевший на козлах²⁰, заорал обычное «пади», но только в ту самую минуту, когда Василия Григорьевича обожгло горячее, влажное дыхание лошади, пахнувшее ему прямо в лицо. Баскаков испуганно отшатнулся, хотел отскочить в сторону, но было уже поздно: лошадь сшибла его с ног, другая ударила его копытом, когда он тяжело упал на землю... Все закружилось перед его глазами: и дома, и церковная колокольня, видневшаяся невдалеке, по которой скользнул его тускнеющий взгляд, когда он падал, и бежавшие со всех сторон, увидев сбитого лошадей человека, люди, и тяжелая берлина, прогромыхавшая мимо него, и он потерял сознание. Кучер берлины бросил равнодушный взгляд на сбитого им с ног человека, щелкнул лошадей бичом и хотел поскорей умчаться, но в это самое время маленькая ручка дернула за шнурок, привязанный к его руке, из окна берлины высунулась женская головка, и он услышал негодующий возглас:

– Степан, как ты смеешь? Остановись сейчас же!

Повинуясь энергичному приказанию хозяйки, кучер сдержал разгоряченных лошадей, выездной гусар²¹, стоявший на запятках берлины, торопливо соскочил на землю, отворил дверцу, которую уже нетерпеливо дергала рука молодой женщины, сидевшей в берлине, и хозяйка лошадей, сбивших Баскакова, выпрыгнула из экипажа и почти бегом, волоча прямо по грязи длиннейший шлейф своего платья, подбежала к тому месту, где лежал Василий Григорьевич, окруженный целой толпой неведомо откуда собравшихся зевак.

Лицо Василия Григорьевича было мертвенно-бледно: из рассеченного лба струилась кровь, сбегая по волосам и смешиваясь с грязной водой стоявшей тут же лужи, и трудно было различить сразу, жив ли молодой человек, или уже душа оставила его тело?

Молодая женщина наклонилась над ним и участливо поглядела на красивое лицо жертвы ее лошадей; в глазах ее сверкнули слезинки непритворного горя, и, обращаясь к толпе, с равнодушным любопытством смотревшей на эту сцену, она проговорила дрожащим от волнения голосом:

– Может быть, он еще жив, его нельзя так оставить... ради бога, помогите мне перенести его в мой экипаж.

Ее слова тотчас же подействовали; несколько человек схватили Василия Григорьевича на руки и осторожно перенесли в берлину, где и уложили на мягкое, обитое шелком сиденье.

¹⁹ Метаморфоза – превращение, преобразование чего-либо.

²⁰ Козлы – сиденье для кучера.

²¹ Выездной гусар – служитель у вельможи в венгерской одежде.

Прежде чем сесть, молодая женщина сказала кучеру:

– Поезжай, Степан, шагом, как можно осторожнее.

Затем она села на переднее сиденье, гусар захлопнул дверцу, и берлина медленно тронулась по улице, провожаемая взглядами толпы, долго еще не расходившейся с места неожиданной катастрофы и оповещавшей о ней новых зрителей, подходивших видя эту толпу.

Когда Василий Григорьевич очнулся и открыл глаза, на его лице отразилось такое удивление, что, если бы он увидел себя в зеркале, он, наверное, расхохотался бы: ему показалось, что он спит, но, неловко повернув голову, он почувствовал какую-то странную, ноющую боль во лбу, поднял руку и ощупал на голове повязку. Тогда он огляделся с тем же удивлением и вдруг вспыхнувшим любопытством еще раз.

Мягкий полусвет, лившийся от закрытого абажуром канделябра²², падал на совершенно незнакомую ему обстановку: прямо перед ним виднелась тяжелая резная дверь, на которой причудливыми фестонами²³ лежала голубая бархатная драпировка. Такой же голубой, отливавший теперь бледно-зеленоватым цветом ковер затягивал пол. В углу комнаты, бывшем в поле его зрения, виднелись маленькие красивые креслица. Немного подальше, среди целой купы редких растений, белел мрамор какой-то статуи, очертания которой, однако, не могли уловить его утомленные глаза. Ничего подобного ему никогда не приходилось видеть. Обстановка была слишком роскошна даже для сна.

Он приподнял голову от подушек и поглядел на кровать, на которой лежал. Кровать была так же роскошна, белье было удивительной белизны. В ногах было отброшено тонкое шелковое покрывало, на одном из углов которого, бывшего ближе к нему, виднелся вышитый разноцветными шелками букет роз, казавшийся точно букетом настоящих цветов.

Баскаков чувствовал в голове тяжесть и потому снова опустился на подушку. Он стал припоминать, что с ним произошло, чтобы хоть как-нибудь объяснить себе эту странную грезую наяву, которую он переживал теперь. Последовательно, одна за другой, прошли перед ним сцены сегодняшнего утра до того момента, когда он почувствовал, как его обожгло дыхание, вырвавшееся прямо ему в лицо из лошадиной морды...

Но тут воспоминания его оборвались; ему показалось, что все это вертится у него перед глазами и у него как бы захватывает дух, точно он летит в какую-то бездонную пропасть... Ноющая боль в голове как бы исчезла совсем, веки упали, точно свинцовые, и он опять погрузился в забытие, не слыша шагов, которые в это время приблизились к двери.

Дверь открылась тотчас же, как только Баскаков снова потерял сознание. Неслышно ступая по пушистому ковру, к постели, на которой лежал Василий Григорьевич, подошла та самая молодая женщина, которая увезла его с улицы, а сзади ее вырисовывалась другая женская фигура, и слабый луч света, вырвавшийся из-под абажура, закрывавшего канделябр, озарил другое молодое женское лицо.

– Он спит, – тихо прошептала хозяйка, наклонившись над Баскаковым и прислушиваясь к ровному дыханию, поднимавшему грудь молодого человека. – Посмотри на него, Соня, не правда ли, он замечательно красив?

Та, которую она назвала Соней, подошла ближе и взглядела в лицо Василия Григорьевича, хотя и обезображенное повязкой, закрывавшей его лоб, но поражавшее своими правильными чертами, красивым абрисом губ и темными бровями удивительно правильной формы.

– Да, недурен! – промолвила она. – Что ж ты с ним намерена делать, Анюта?

– Прежде всего – залечить его рану, полученную им по моей вине.

Ее подруга неслышно рассмеялась.

²² Канделябр – большой подсвечник с разветвлениями для нескольких свечей или электрических ламп.

²³ Фестон – накладная вышивка, вырезка; зубцы.

– А ты не боишься, – спросила она, – что, пока ты будешь залечивать его рану, шалунишка-амур нанесет рану твоему сердцу?

Молодая женщина густо покраснела.

– Не могла же я бросить его на произвол судьбы! Ты знаешь, я никогда не отличалась бессердечием. Ты понимаешь, когда я увидела, что он попал под лошадей, у меня сердце захолонуло от ужаса. Я так боялась, что он умер, что ты представить себе не можешь. Когда я побежала к нему, он казался совершенным мертвецом.

– Но мертвецом очень красивым, иначе, что вы там, Анна Николаевна, ни говорите, несмотря на все ваше мягкосердечие, вы не уложили бы его в свою берлину и не привезли бы сюда, – закончила Соня со звонким смехом.

Яркая краска залила щеки Анны Николаевны.

– Тише, – воскликнула она, – ты его разбудишь, ему сон теперь необходим.

– А еще более необходим для тебя. Пока он спит, ты можешь им свободно любоваться; ведь ты с него глаз не спускаешь... До чего ты влюбчива, Анюта, так это просто удивительно! Смотри, чтоб это не кончилось очень печально!

– У тебя на уме только глупости! Ты удивительный человек, Соня! Если бы я не знала твоего доброго сердца, так можно было бы подумать, что ты вся соткана из ехидства. Неужели я не могу загладить свою вину без того, чтоб меня не обвинили в какой-то излишней влюбчивости? Меня, кажется, никто в этом упрекнуть не может! – И Анна Николаевна обиженно поджала свои красивые губы.

Подруга быстро притянула ее голову и звонко поцеловала.

– Ну, не дуйся, пожалуйста! Во-первых, это к тебе и не идет, а во-вторых, я ничего обидного не сказала, а просто предостерегаю тебя. Было бы очень печально, если бы ты, залечив рану этого молодого человека, полученную им по твоей вине, нанесла ему более серьезную рану и, может быть, даже смертельную.

– Это что за странный намек? – бледнея, спросила Анна Николаевна.

– Я не только намекаю, я говорю прямо: не забудь, что Александр Иванович ревнив как черт.

– При чем же здесь Александр Иванович? – вспыхнув, проговорила молодая женщина.

Соня погрозила пальцем:

– Ты начинаешь со мною хитрить, Анюта! Кому же не известно в Петербурге, что граф Александр Иванович Головкин влюблен, как мартовский кот, в ее светлость княгиню Трубецкую?

Анна Николаевна рассмеялась, но глаза ее были грустны.

– Я против этого не спорю, – сказала она, – но, кажется, в то же время никто не скажет, чтобы Анна Николаевна Трубецкая отвечала на кошачью любовь графа Головкина. Я ему не мешаю меня любить, но это еще не значит, чтобы я когда-нибудь ответила на его чувство, и это вам, Софья Дмитриевна, должно быть ведомо.

Соня пристально поглядела на подругу, затем быстро обняла ее талию, прильнула губами к ее уху и шепнула:

– А хочешь, Анюта, я тебе скажу новость?

– Какую?

– Ты, голубушка, влюблена, и влюблена не в кого иного, как в сего неведомого кавалера. – И она повела рукой по направлению постели, где лежал Баскаков...

Трубецкая вспыхнула, резко отшатнулась от подруги и дрожащим от смущения голосом проговорила:

– Из чего ж ты это вывела такое заключение?

– Из того, голубчик, – улыбаясь, но вполне серьезным тоном продолжала Софья Дмитриевна, – что до сегодняшнего дня я не слыхала от тебя ничего подобного. Правда, ты не выска-

звала своей любви Головкину, но еще в недавнем разговоре со мной на мой вопрос, пойдешь ли ты замуж за Александра Ивановича, ты ответила, что граф Головкин не такая плохая партия, чтоб княгиня Трубецкая осталась вечной вдовой. Ну, клянусь Богом, если я задам тебе такой же вопрос сегодня, то ты, пожалуй, ответишь мне совершенно иначе. Ну-ка, Анюта, тебе передо мной скрываться нечего – говори прямо и откровенно! – И, приблизив свое лукавое личико к самому лицу Трубецкой, пылавшему ярким румянцем, Софья Дмитриевна взглянула в ее глаза.

Анна Николаевна не выдержала этого пытливого взгляда, опустила глаза и после небольшого молчания прошептала:

– Отстань от меня! Я ничего не знаю.

– Вернее, не хочешь быть откровенной?

– Станный ты человек, Соня! При чем тут моя откровенность? Уверяю тебя, что я сама не знаю, что делается в моем сердце, но...

– Но это сердце, – быстро перебила ее подруга, – в данную минуту больше лежит к этой несчастной жертве твоих лошадей, чем к нашему милейшему графу Головкину, не так ли?

Трубецкая опять покачала головой и пожала плечами.

– Не приставай, я ничего не знаю, ничего не знаю!.. И что это у тебя за привычка, Соня, непременно врываться в чужую душу, непременно копать в чужих чувствах?

– Голубушка, – наивно воскликнула Софья Дмитриевна, – да что же мне больше делать? Ты знаешь, я, как те старички, которым уже недоступны земные радости, любят смотреть, как радуются этим радостям другие; так и я: я не могу сама любить, так мне, по крайней мере, приятно видеть, как шалунишка-амур незримою цепью сковывает сердца моих близких.

– Ну да, – проговорила Анна Николаевна, обрадованная, что можно переменить тему разговора, уйти от щекотливого любопытства подруги, – ну да, так я тебе и поверю, чтобы в двадцать девять лет ты сумела засушить свое сердце! Это, родная, рассказывай кому-нибудь другому.

Оживленное личико Сони потемнело, точно подернулось внезапно набежавшей тучкой, смеющиеся глаза как бы потухли, и она тихо промолвила:

– Ты, кажется, знаешь, Анюта, что я совсем не бравирую... Я не засушила своего сердца. Та любовь, которая пылала в нем еще так недавно, горит в нем тем же неугасимым огнем и медленно сжигает мою жизнь. Но я никогда уже не полюблю никого другого, никогда не изменю памяти моего несчастного Моти.

При этом имени в ее глазах сверкнули слезинки и медленно скатились по побледневшим щекам.

– А ты уверена, – тихо, тем же печальным, словно надтреснутым тоном, как бы сама проникаясь грустью, охватившей ее подругу, спросила Трубецкая, – ты уверена, что Матвей Александрович умер?

– Конечно! Он был сослан в Тобольск, и вот недавно я писала к местному воеводе Загряжскому, и он мне ответил, что Мотя скончался через три месяца после своего приезда. Да это нужно было ждать. Кто попадет в бироновские застенки, тот уже не жилец на этом свете, даже если бы вышел живым из рук палачей! – И опять слезинки засверкали в ее глазах и снова покатались по щекам.

На несколько минут воцарилось тяжелое молчание, и в это самое время Баскаков снова очнулся, снова открыл глаза и снова поглядел кругом себя с изумлением. Тишина, стоявшая в комнате, обманула его. Трубецкая и ее подруга стояли в изголовье его постели, и он не мог видеть их, но вдруг его слуха коснулся легкий вздох, и мелодичный голос, точно утешая кого-то, проговорил:

– Не плачь, Соня! Ты и так много плакала.

– Да, мне казалось, что я уже выплакала все слезы, – слышался Баскакову другой голос, – мне казалось, что теперь в моем сердце не осталось ничего, кроме любви к памяти Моти да ненависти к злодею Бирону. Но, оказывается, слезы еще не совсем иссякли; впрочем, они высохнут, их утолит пламя моей ненависти.

Этот разговор, эти женские голоса еще более изумили Василия Григорьевича. Теперь уж он не сомневался, что он не спит, и, чтобы увидеть, кто тут разговаривает, чтобы наконец узнать, куда он попал, он повернул голову, приподнялся на локте и взглянул в ту сторону, где звучали голоса.

Его движение не ускользнуло от чуткого слуха Трубецкой: она быстро обернулась к постели и увидела устремленный на себя лихорадочный взгляд черных глаз. Оживленное этим взглядом лицо показалось ей еще красивее, и она почувствовала, как забилося у нее сердце. Она торопливо подошла к постели, наклонилась над Баскаковым и проговорила:

– Вы пришли в себя, вы очнулись? Как я рада! Ну, как вы себя чувствуете?

VI

По течению

Услышав мелодичный голос молодой женщины, наклонившейся над ним, увидев ласковый взгляд глубоких бархатистых глаз, Василий Григорьевич опять готов был подумать, что ему видится какой-то странный сон, что и это красивое лицо, и этот мелодичный голос не что иное, как плод его больной грезы.

Трубецкая, видя, что ее больной не отвечает, снова повторила свой вопрос:

– Ну, как же вы себя чувствуете? Не очень вам больно?

– Простите, – пробормотал Баскаков, – скажите мне, ради бога, где я, что со мной, кто вы?

– Разве вы не помните, что с вами случилось?

– Помню, но очень смутно; меня, кажется, сшибла чья-то лошадь.

– Да, да! И, к несчастью, эта лошадь оказалась моею, мой кучер был так неосторожен, что наехал на вас. Вы упали, и я привезла вас к себе, считая себя глубоко виноватой перед вами.

Эти слова, как яркий свет лунного луча, ворвавшийся в темную мглу ночи, осветили таинственный мрак, окутывавший Баскакова. Он моментально успокоился и, уже с веселой улыбкой глядя на молодую женщину, разговаривавшую с ним, сказал:

– Так вот в чем дело! Значит, я был так неловок, что наделал вам еще хлопот?

Трубецкая улыбнулась в свою очередь:

– Вы, кажется, готовы себя обвинять в том, что мои лошади чуть не задавили вас? Это, конечно, черта, свойственная молодости, но я совсем не хочу испытывать вашу любезность, я глубоко виновата перед вами и прошу у вас прощения за эту, хотя и невольную, вину.

– Но в чем же вы виноваты? – искренне удивился Василий Григорьевич. – Скорее виноват я сам, что переходил через улицу, погруженный в думы. На столичных улицах этого делать не следует.

– Но ведь вы были на волосок от смерти! Как сказал врач, если бы удар копытом пришелся немного ближе к виску, то спасти вас было бы очень трудно.

Веселая улыбка опять озарила лицо Баскакова.

– И опять-таки в этом была бы только моя вина, а уж никак не ваша. Нет, нет, ради бога, и не старайтесь доказывать мне противное! Не вы виноваты передо мной, а, напротив, я, что своею неосторожностью наделал вам так много хлопот. И если вы хотите исполнить мою просьбу, так я вам буду очень благодарен.

Молодая женщина, симпатия которой к Баскакову разрасталась все сильнее и сильнее, быстро отозвалась:

– Говорите, ради бога! Нужно куда-нибудь послать? Известить о том, в каком положении вы находитесь? Скажите адрес, и я тотчас же пошлю нарочного.

Баскаков сделал отрицательное движение головой, и ноющая боль, утихшая было давеча, снова возобновилась. Легкая гримаса прошла по его лицу, но он пересилил себя:

– Нет, нет, мне извещать некого, у меня в Петербурге нет знакомых, и я здесь совсем чужой человек. Я бы попросил вас велеть отвезти меня на тот заезжий двор, где я остановился.

Трубецкая побледнела и торопливо возразила:

– О нет, этой просьбы вашей я не исполню! Врач запретил вам малейшее движение, и вы, уж хотите не хотите, приятно это вам или неприятно, а должны будете пролежать до тех пор, пока не будет никакой опасности.

Ее ласковые слова теплой волной прошли по сердцу Баскакова. Эта заботливость о нем тронула его до глубины души.

– Вы слишком добры, – проговорил он, – и ваш образ будет лучшим воспоминанием о Петербурге, о котором я, может быть, буду даже жалеть. Но я, во всяком случае, не злоупо-

треблю вашим терпением и добротою: мне кажется, что дня через два я буду в состоянии уже подняться на ноги и уехать в Москву.

Сердце молодой женщины при этой фразе как-то странно сжалось, но она прежним веселым тоном отозвалась:

– Когда вы встанете на ноги, вы совершенно свободны, а пока вы – мой пленник. Теперь успокойтесь, так как волнение вам вредно. Сейчас я вам пришлю поужинать, а затем спокойной ночи, утром я опять зайду проведать вас.

Она отошла от постели, бросила на Баскакова прощальный взгляд и затем, обняв за талию Соню и стараясь не смотреть на ее лукаво улыбавшееся лицо, вышла вместе с нею из комнаты.

Когда дверь за ними затворилась, Баскаков невольно улыбнулся.

– Я не могу пожаловаться, – прошептал он, точно разговаривая сам с собою, – что одна часть моей программы, намеченной мною в Москве, как я буду проводить время в приневской столице, – не исполнилась. Я ехал сюда для того, чтобы повеселиться и испытать кой-какие приключения. Веселья я здесь не нашел, но в приключениях зато излишек. Только четыре дня я в Петербурге, а уж это – второе приключение. И, удивительная вещь, судьба точно играет со мной: оба раза – и вчера, и сегодня – мне грозила смертельная опасность, и я благополучно избавился от нее. Очевидно, судьба благоволит ко мне, но все-таки ее искушать не следует. В третий раз она может изменить, а поэтому, как только я поднимусь на ноги, а это, я думаю, будет очень скоро, я тотчас же уеду в Москву. Все-таки у меня будут хорошие воспоминания, а с меня и этого совершенно достаточно...

Однако Баскакову не пришлось уехать в Москву и через два дня, не пришлось уехать и через неделю. Незначительная сама по себе рана на голове вдруг осложнилась нервной горячкой, которая приковала его к постели в доме княгини Трубецкой на очень долгое время.

Трубецкая, с одной стороны, эгоистически обрадовалась тому, что судьба не так скоро разлучает с заинтересовавшим ее человеком, с другой – страшно тревожилась за его жизнь и все это время проводила около его постели, то замирая от страха, когда он метался в горячечном бреде, то торжествуя, когда на него находили минуты просветления и к нему возвращалось сознание.

Молодая натура взяла свое. Через три недели опасность миновала, и Василий Григорьевич, страшно похудевший за время болезни, стал быстро поправляться. И опять, как в то время, когда он метался в жару, так и теперь, Анна Николаевна почти не отходила от его постели, ухаживая за ним с такой нежной заботой, с такой лаской, что Софья Дмитриевна перестала уже улыбаться, а совершенно серьезно заметила своей подруге:

– Ну, Аня, теперь, кажется, кончено, судьба сыграла с тобой скверную шутку, и я серьезно опасаясь последствий этой шутки, когда Александр Иванович узнает наконец причину твоей к нему холодности.

Действительно, ее опасения были вполне понятны. Анна Николаевна до этой случайной встречи с Баскаковым, правда, не показывала открытой симпатии к графу Головкину, ухаживавшему уже давно за нею, но принимала эти ухаживания. При дворе и в свете стали открыто называть Головкина ее женихом. Трубецкая, слыша эти толки, пожимала плечами, но не опровергала их, чем вводила светских кумушек в еще большее заблуждение, а Александр Иванович был от души рад этим толкам, так как княгиня Трубецкая нравилась ему и как красивая женщина, и как любимая фрейлина покойной государыни, имевшая громадные связи, и, наконец, как обладательница очень крупного капитала. Официального предложения он ей не делал, но, успокоенный городскими толками, собирался его сделать в первую удобную минуту, и только смерть государыни помешала его намерениям. Он ничего не знал об истории с Баскаковым. Трубецкая почему-то умолчала об этом, но он вдруг заметил резкую перемену, происшедшую в молодой женщине по отношению к нему. Она была всегда с ним любезна, всегда очень радушно его принимала, позволяла иногда ему засиживаться против обычая этикета,

благосклонно выслушивая его любезности, но, когда он приехал к ней дня через три после того, как Баскакова сшибли ее лошади, Анна Николаевна была совсем не та, что прежде. Встретила она его, правда, по-прежнему радушно, но ее глаза смотрели как-то холодно и жестко. Говорила она с ним любезно, но, когда он вздумал, как прежде, поцеловать ей руку, она вспыхнула и резко вырвала свою руку у него. Через два дня после этого она была совсем заметно холодна с ним, а еще через несколько дней, просидев с ним не более десяти минут, она отговорила головной болью и заставила его сократить свой визит, на что он совершенно не рассчитывал. Все это поражало Александра Ивановича, все это донельзя удивляло его.

Мало-помалу в нем проснулись подозрения, вслед за подозрениями в сердце колыхнулась ревность, и он стал пытливо отыскивать в своей памяти всех тех, кто мог перейти ему дорогу.

Софья Дмитриевна не даром тревожилась. Граф Головкин слыл за человека мстительного и жестокого, и молодая женщина прекрасно понимала, что, если Александр Иванович проникнет в тайну сердца княгини Трубецкой, если он узнает о странном пациенте, вот уже три недели находящемся в доме той женщины, которую он хотел назвать своей женой, – и Анне Николаевне, и ее протеже грозят тогда большие неприятности. Но Трубецкая, отуманенная чадом любви, вспыхнувшей в ее сердце, не придавала мести графа Головкина ни малейшего значения.

– Ты напрасно пугаешься, душечка, – сказала она Соне в ответ на ее предостережения, – мне бояться нечего: Александр Иванович не имеет никаких прав на мое сердце, а стало быть, и на меня.

– Да, но ведь его все называли твоим женихом.

– Все, кроме меня, и я думаю, что в таких вопросах я хоть что-нибудь да значу.

– Все это так, но ты должна принять в расчет, что Головкину очень хотелось стать твоим мужем, и он будет мстить хотя бы только потому, что его планы разрушены. Во всяком случае, помни только, что осторожность не мешает, и чем осторожнее ты будешь, тем лучше.

Анна Николаевна беспечно отмахнулась рукой, но не дальше как на другой день ей пришлось убедиться, что Александр Иванович Головкин не оставил своего намерения. Он решил серьезно поговорить с Трубецкой и, не обращая внимания на то, что теперь время траура, решил сделать ей предложение. Приехав на другой день после того, как Софья Дмитриевна предостерегла Трубецкую, и сразу заметив, что Анна Николаевна настроена против него не только холодно, но враждебно, он не смутился этим и прямо приступил к делу.

– Вы давно должны были заметить, княгиня, – начал он, – что я бываю у вас не только в качестве простого знакомого.

Трубецкая поняла, к чему он ведет речь; в ее душе зашевелилась непонятная против него злоба, и она насмешливо прервала его:

– Я не замечала этого, так как никогда ничего иного и не предполагала.

Темные глаза Головкина сверкнули злобным огоньком, и он, чувствуя, что она над ним насмехается, захотел скорее дойти до конца.

– Насколько я помню, – проговорил он с заметным волнением, – вы ранее несколько отделяли меня от толпы простых знакомых, но, если вам угодно забыть об этом – я настаивать не буду и только скажу вам, княгиня, что я никогда не был слепым человеком и никогда не был человеком глупым.

По губам Трубецкой пробежала усмешка. Он поймал эту усмешку и вспыхнул до корней волос.

– Ни для кого в Петербурге, – продолжал он, – не тайна, что я люблю вас, ни для кого в Петербурге не тайна, что я хотел сделать вам предложение и был бы очень счастлив, если бы вы приняли его.

Он хотел продолжать, но Анна Николаевна резко перебила его:

– Вы можете не продолжать, граф; мне ясно, к чему вы все это говорите и о чем хотите сказать. Я не сомневаюсь, что вы были бы очень счастливы жениться на вдове князя Трубецкого, но я, граф, не нахожу никакого счастья в этом и совсем не хочу пока менять свою фамилию.

Головкин не только побледнел, но даже позеленел от злости, и лицо его исказилось судорогой.

– Другими словами, значит, вы мне отказываете?

– Вы не ошиблись, но только примите к сведению, Александр Иванович, что я вам отказываю не потому, что вы мне не нравитесь, чтоб я вас считала нехорошим человеком, а просто потому, что я не хочу выходить замуж, что мне моя вдовья свобода дороже новых золотых цепей замужества; я отказываю вам так же, как отказала уже многим, искавшим моей руки.

Головкин никогда не отличался большою сдержанностью. Он всегда был груб и раздражителен, нередко забывая разницу между казармами и светской гостиной, но разрушение его планов, этот отказ, которого он никак не ждал от Трубецкой, окончательно лишили его самообладания. Он дерзко рассмеялся и почти выкрикнул:

– Вы совершенно напрасно хотите позолотить эту пилюлю! Повторяю вам, что я никогда не был глупцом и прекрасно вижу, в чем дело. Прежде в вас никто не замечал, а я тем менее, желая остаться вдовой.

Анна Николаевна усмехнулась:

– Вы совсем забываетесь, сударь! Кажется, я вольна в своих поступках, и мне некому отдавать в них отчета.

– Я и не требую у вас отчета, я просто высказываю свое удивление и, кажется, имею полное право на это.

– Я вам не давала такого права и никогда не дам.

– Неправда! – прошипел он, почти вплотную наклонясь к ней. – Вы принимали мои ухаживания, вы не противоречили толкам о возможности брака между нами, вы слышали, что меня называют вашим женихом, вашим будущим мужем, и ясно было всем, что вы нисколько не против этого.

Анна Николаевна, бледная, трепещущая, с злыми слезами на глазах, стала во весь рост.

– Вы возмутительно ведете себя, сударь! – проговорила она дрогнувшим голосом. – Вот теперь, сейчас, несмотря на то что вы не имеете надо мной никакой власти, вы позволяете себе обращаться со мной так дерзко и грубо, как это водится, может быть, только между мужиками... Согласитесь сами, что было бы слишком глупо сделаться женою дикаря.

Она повернулась и, даже не кивнув ему, направилась к дверям.

– Пойдите! – крикнул он, догоняя ее. – Вы хорошо обдумали последствия своего отказа?

Она полуобернулась к нему и смерила его с ног до головы презрительным взглядом.

– Мне нечего обдумывать, мое решение неизменно! – проговорила она твердо. – Вашей женой я никогда не буду и надеюсь, что если нам и придется когда-нибудь еще раз встретиться с вами, то вы не будете настолько дерзки, чтобы разыгрывать моего знакомого – я с вами больше незнакома! – И, произнеся эти заключительные слова самым презрительным тоном, княгиня быстро шагнула к двери, точно боясь, что граф ее опять остановит, и торопливо притворила ее за собой.

Оставшись один, Головкин злобно рассмеялся и кинул на дверь, за которой скрылась княгиня Трубецкая, такой страшный взгляд, что если бы молодая женщина подсмотрела его, то, конечно, в ее сердце родились бы опасения.

VII

Ночные гости

Было около двенадцати часов ночи, когда к двухэтажному каменному дому, темной массой стоявшему на углу набережной Красного канала и Мошкова переулка, один за другим стали подходить человеческие тени, неслышно ступая по скользким мосткам, тянувшимся от казенной аптеки вплоть до этого дома, и так же неслышно, как и подобает теням, исчезая в его стене, выходявшей на Красный канал.

На петербургских улицах, кроме тех мест, где стояла полицейская стража да уныло притаились пикеты, расставленные по приказанию Бирона, не было ни души. Над городом нависла черная мгла, которую даже не разгоняли огни, так как все окна давно уже были темны. В Мошковом же переулке и на берегу Красного канала даже не стояло пикета, и поэтому темные тени, направлявшиеся к угловому дому, не вызвали ничьего любопытного внимания.

Этот угловой дом некогда принадлежал принцу Гольштейнскому, а в последнее время в нем поселилась принцесса Елизавета Петровна, которой почему-то понравился этот мрачный дом. Судя по тому, что в окнах этого дома не было заметно даже узенькой полоски света, можно было предположить, что и сама Елизавета Петровна, и все обитатели ее скромного дворца давно уже погрузились в сон. Но тени, подходившие неслышно к дому принцессы, очевидно, или не знали этого, или были уверены в противном. Они не обращали ни малейшего внимания на темные окна и уверенной поступью, как люди, которые знают, что их ждут, подходили к калитке, проделанной в стене, легонько стучали в нее два раза и затем тотчас же скрывались за дверью, которая снова затворялась за ними.

Если бы какой-нибудь любопытный человек заинтересовался этим и стал считать, сколько человек прошло в эту калитку, он бы, безусловно, изумился, насчитав до цифры шестьдесят шесть. Такое громадное количество ночных посетителей дома принцессы Елизаветы Петровны не могло быть никоим образом случайным, и было бы ясно, что эти странные гости собирались на какое-нибудь тайное совещание.

Ночных гостей, очевидно, ждали. Каждый из них, проскользнув с улицы в небольшую дверь, попадал в совершенно темный коридор и, пройдя его до конца, медленно поднимался по лестнице до другой двери, тоже запертой, в которую приходилось стучать, как и в наружную калитку, но уже гораздо громче. Постучав отрывисто три раза, каждый из гостей слышал такой же троекратный стук, затем дверь отворялась, и вместе с этим на темную лестницу падал целый сноп лучей ослепительного света, но не добегал до ее конца, а тотчас же исчезал, как только достигал первой площадки.

В той комнате, откуда падал свет и откуда дверь выходила на лестницу, ночных посетителей встречал высокий, еще бодрый старик в темном бархатном камзоле и, пытливо вглядываясь в лицо каждого входившего, в ответ на его поклон делал какое-то странное движение рукой, сложенной таким образом, что, кроме среднего пальца, все остальные были плотно прижаты к ладони, после чего странные посетители проходили в следующую комнату, где и садились на кресла, стоявшие в количестве шестидесяти шести вокруг всех четырех стен.

Здесь, в этой комнате, царило яркое освещение: горела громадная серебряная люстра, спускавшаяся с середины потолка, горели несколько десятков бра, прикрепленных к стенам, да, кроме того, на столе, стоявшем посередине и покрытом тяжелой темно-малиновой бархатной скатертью, стояли два двенадцатисвечных канделябра, тоже бросавших яркий свет. Дверь то и дело открывалась и затворялась. То и дело через ее порог переступали офицеры всех родов оружия, штатские в камзолах всевозможных цветов, но все они – и военные, и штатские – несмотря на то что одни из них были посеребрены сединою, а над губами других едва пробивался пушок, имели на правом рукаве темно-малиновую бархатную ленту, завязанную замыс-

ловатым бантом. Все они между собою были уже знакомы. Но они не подходили друг к другу, не протягивали друг другу руки, даже не здоровались между собою. Каждый молча подходил к своему креслу, молча садился, как бы даже не обращая внимания на своих соседей.

Но вот дверь скрипнула в последний раз. Только одно кресло еще и оставалось незанятым, и этот новый посетитель, оказавшийся уже знакомым нам Антоном Петровичем Лихаревым, твердым шагом подошел к креслу и молча опустился в него. Его приход точно разрушил очарование: точно только его и ждали, чтоб прогнать молчание, царившее в этой зале, и в воздухе загудело жужжание от шепота целых десятков голосов, переговаривавшихся между собою. Кресло, которое занял Лихарев, оказалось рядом с креслом, на котором сидел так жестоко поплатившийся за свою ссору с Баскаковым и получивший тяжелую рану от его шпаги Левашев.

Молодой офицер вылежал в постели ровно две недели и встал совершенно бодрым и здоровым, с легким воспоминанием об этой странной дуэли, оставшимся в верхней части его груди в виде темно-красного рубца. Дмитрий Петрович был донельзя удивлен, когда Лихарев рассказал ему об их удивительной ошибке и о том, что дравшийся с ним юноша оказался двоюродным братом Николая Львовича Баскакова. Левашев ужасно жалел, что не мог извиниться перед Баскаковым за свою грубую ошибку, окончившуюся, к счастью, еще так благополучно, и хотел, как только оправится, написать Василию Григорьевичу в Москву, прося у него извинения. Они и не подозревали, что Баскаков совсем не в Москве, что, несмотря на свое твердое решение покинуть приневскую столицу, он принужден был остаться в ее стогнах²⁴, и были бы не только удивлены, а даже обрадованы этим обстоятельством, знай только это.

Когда Лихарев сел с ним рядом, Дмитрий Петрович шепотом спросил его:

– Отчего ты так поздно?

– Представь себе, – отозвался тот, – мне показалось, что за мною следят, и я дал порядочного крюка, чтоб только запутать свои следы.

Левашев презрительно усмехнулся:

– Пуганая ворона и куста боится.

Антон Петрович несколько не обиделся на приятеля, и на его ярко-красных губах задрожала веселая улыбка.

– Смейся, смейся! – сказал он. – Не всем быть таким храбрым, как ты... Я, братец, всегда памятую, что фортуна – дама капризная: захочет повернуть колесо не в ту сторону – и как раз под колесом очутишься; и потом, друже, я трушу не за себя, а за все наше дело.

Левашев досадливо повел плечами:

– Все-то вы на куриц мокрых смахиваете! И то, по правде сказать, что ты-то трусишь – не велика беда, а скверно то, что принцесса трусит. Это, брат, куда хуже. Стыдно сказать, до чего она нерешительна.

Лихарев покачал головой:

– Больно уж ты горяч, Митя! Нельзя, братец, так горячиться! Не забудь, что ты не один.

– Да я это памятую, а все-таки как-то на душе тяжело, когда не знаешь наверняка, выйдет что али нет.

– Ну-ка, брось об этом говорить, скажи-ка мне лучше, что слышно у правительницы? Ты ведь там частенько бываешь.

Дмитрий Петрович покраснел.

– Да ничего особого не слышно! Принцесса целыми днями у себя в уборной сидит, Юлиана вместе с нею, и тощица там, братец, страшная.

– А больше ты ничего не знаешь?

– Ровно ничего.

²⁴ Стогна – площадь, улица в городе.

Антон Петрович бросил на приятеля укоризненный взгляд.

– Эх, сударь, сударь! – промолвил он, совсем понизив голос и качая головой. – Под носом у тебя заговор деется, а ты ничего не знаешь.

– Какой заговор?

– А такой: Анна-то Леопольдовна недаром в уборной сидит: они с Менгденшей такую же штуку затеяли, как и мы с тобой. Рознь только в том, что мы для Елизаветы стараемся, а они для себя хлопочут. Так вот, ты и гляди, как бы они нам дорогу не перехватили.

Левашев удивленно поглядел на приятеля:

– Да ты что это – шутишь али правду говоришь?

– Какие тут шутки? Я, братец, почти наперечет знаю всех, кто в этом действии и участие принимать хочет. Ты вот скажи мне, промежду прочим: его сиятельство генерал-фельдцейхмейстер²⁵ граф Миних часто бывает у правительницы?

– Частенько.

– Вот видишь, а его сиятельство – всему делу главный коновод.

– Так что же? Коли это так, этому помешать надобно.

– Ни-ни-ни, и не думай! Нам эта история на руку, и даже очень. Перво-наперво они нам дорогу расчистить могут, а второе – если эта курляндская собака что разведает, так всегда на тех свалить можно.

Дмитрий Петрович задумался на минуту, оглянулся по сторонам и, видя, что соседи заняты разговором между собою, что на их беседу никто не обращает внимания, наклонившись к самому уху приятеля, промолвил:

– А ты знаешь, Антоша, принцесса Анна за Линара Юлиану сватает.

Тот усмехнулся:

– Этого давно ждать нужно было! Чем крепче она этого молодчика привяжет, тем для нее сподручнее, и опять, видишь, нам сие очень на руку: принцессе не до того будет, чтобы серьезную опасность чутя да наши действия предостеречь. Дама она мягкосердая, лености в ней хоть отбавляй, да и потом в этой истории так запуталась, что ей положительно все равно, что вокруг нее творится, лишь бы только Линар не отдалялся от нее. Ну а теперь будет, братец, разговаривать! Я слышу шаги, должно быть, это принцесса к нам жалует.

Лихарев не ошибся. Не успел он докончить свою фразу, как дверь, противоположная той, через которую входили ночные гости, быстро распахнулась, и в ее рамке показалась крупная, статная фигура Елизаветы Петровны.

Любимая дочь Петра Великого, несмотря на то что ей теперь перевалило за тридцать, поражала хотя и несколько грубоватой, но все же эффектной красотой. Годы точно прошли для нее бесследно, бурное дыхание жизни точно не хотело оставить на ее лице никаких следов. Полные щеки принцессы пылали по-прежнему ярким, здоровым румянцем, красивые чувственные губы не только не поблекли, но казались такими же свежими, серые глаза, темневшие только в минуту гнева, сверкали тем же веселым огоньком, каким они сверкали и в те дни, когда Елизавета Петровна еще была маленькой девочкой, и тогда, когда для нее наступили дни зрелой юности. Только немножко полнее стала она, да не так, как прежде, часто скользила по ее губам веселая беспечная улыбка.

Когда принцесса вошла в ту комнату, где сидели ее странные ночные гости, все они разом поднялись со своих мест и, точно по команде, отвесили в ее сторону глубокий почтительный поклон. Елизавета ответила на этот поклон веселой улыбкой, легким наклоном головы и затем, повернувшись к шедшим сзади нее спутникам, из которых один был уже пожилой человек, хотя и богато, но неряшливо одетый, а другой – молодой красавец с огненным взглядом глубоких черных глаз, жестом пригласила их следовать за собою и, подойдя к креслу, стоявшему

²⁵ Генерал-фельдцейхмейстер – главный начальник всей артиллерии.

у стола, опустилась в него. Ее спутники, один из которых носил звание ее придворного лейб-медика²⁶ и назывался Лестоком, а другой был сыном регистрового казака²⁷ Григория Разума, сели по бокам принцессы и вопросительно поглядели на нее.

Несколько секунд тянулось молчание. Елизавета Петровна никогда не отличалась решительным характером; унаследовав от своего отца многие черты его выразительного лица, его рост и его сложение, она в то же время совсем не походила на него характером. Мягкая и даже как бы боязливая, она постоянно старалась отделаться от мысли, что ей суждено воссесть на российском престоле, несмотря на то что она была самой законной наследницей после своего племянника, отрока Петра Второго. В те дни, когда Верховный совет, обойдя Елизавету, вручил императорскую корону ее двоюродной сестре Анне Иоанновне, принцесса не только не огорчилась этим, но даже как бы обрадовалась. Тягость императорской порфиры²⁸ пугала ее, и, когда ее друзья, а в том числе и шеф кавалергардов²⁹ Павел Иванович Ягужинский, предлагали ей поднять восстание в ее пользу, она всеми силами своей натуры воспротивилась этому. Только уже к концу царствования Анны Елизавета стала задумываться о том, что она имеет полное право на императорскую корону, и в ней проснулось желание, хотя и поздно, вернуть это право, похищенное у нее верховниками. Но нерешительность и робость натуры сказались и тут: если бы не энергия ее приближенных да не кучка молодежи, обожавшей ее, Елизавета, наверное, не стала бы помышлять ни о каких заговорах в свою пользу, и ее сожаления о потерянной власти так бы и остались простыми сожалениями, так как, пожалуй, она ни за что не решилась бы перейти от слова к делу.

Но Разумовский и Лесток сумели доказать ей, что трусить нечего; она перестала открыто протестовать, и, воспользовавшись этим, маленькая кучка заговорщиков, желавших возвести ее на престол, стала мало-помалу разрастаться, и к тому времени, когда скончалась императрица Анна, уже во всех русских полках, среди уже всего русского офицерства была такая масса сторонников Елизаветы Петровны и было так много врагов Бирона, что одного малейшего жеста ее было достаточно, чтоб вызвать всеобщее движение в ее пользу. Но Елизавета все робела. Даже теперь, когда, по настоятельному совету Лестока, она собрала главных коноводов заговора в количестве шестидесяти шести человек, сидевших теперь перед нею, она все-таки не хотела произнести решительное слово, робкий страх сковывал ее уста, а врожденная инертность заставляла отдалять приказание действовать, которого только и ждали от нее коноводы восстания.

Окинув быстрым взглядом своих гостей, Елизавета снова улыбнулась и проговорила звонким, мелодичным голосом, как и улыбка, располагавшим к ней все сердца:

– Не посетуйте на меня, любезные друзья, что я вас заставила притащиться в такую непогодь; тому не я виной, а вот они, – и она кивнула в сторону Лестока и Разумовского, – насаждали они мне всяких страхов, напугали, будто вам моя медлительность не нравится, а посему я и хотела вас спросить, правда ли все это и действительно ли вы от меня отшатнуться хотите?

Глухой ропот прошел по рядам сидевших у стен, но поднялся отвечать Елизавете только один человек. Это был высокий, бодрый старик Семен Григорьевич Нарышкин, одним из первых приставший к заговору в пользу Елизаветы и уважаемый решительно всеми как за свой древний род, бывший в родстве с царской фамилией, так и за свою дряхлость, так как старику теперь шел уже восьмидесятый год.

²⁶ Лейб-медик – врач при семье монарха.

²⁷ Регистровый казак – состоящий в должности, на службе казак.

²⁸ Порфира – верхняя торжественная одежда государей, широкий длинный плащ багряного шелка, подбитый хвостатым горностаем.

²⁹ Кавалергард – воин, всадник, гвардеец тяжелой кавалерии.

VIII

Решительное слово

Нарышкин окинул своих сотоварищей вопросительным взглядом, точно прося у них разрешения говорить от лица всех, и затем, поклонившись Елизавете, проговорил старческим дрожащим тенорком:

– Ваше высочество, мы не шатуны какие-нибудь, чтобы от своих слов отрекаться да от дел отказываться. Как я лично, так и все здесь сидящие только одного и чаем, чтобы вашу персону на российском престоле увидеть. Стало быть, о том и разговора быть не может, чтобы кто из нас вам изменить задумал, а только одно верно, что нам тянуть так долго надоело, и не потому надоело, что мы лично о каких-нибудь выгодах помышляем, а потому, ваше высочество, что за вашу судьбу боимся. Время бежит быстро, его не догонишь: сегодня, глядишь, удача, а завтра подул ветер в другую сторону – и все, что нами затеяно, сразу развеять может. Не посетуйте на меня, ваше высочество, что я это все говорю; говорю я это, вашему высочеству добра желаячи да за вашу судьбу опасаясь. Ноне сами знаете, какие дни: спроведает господин Бирон о наших тайных замыслах – и поминай тогда нас всех как звали: туда загонит, куда и ворон костей не заносит. Потому и говорю я вам, что медлить доле нельзя и не мы от вас отшатнемся, коли что, а судьба нас всех разгонит, а тогда трудно будет поправить, что раз будет испорчено.

Он замолчал и снова обвел взглядом всех заговорщиков, на этот раз как бы ожидая одобрения своим словам. И все они, точно по команде, кивнули, и из всех грудей вырвался единодушный возглас:

– Верно, верно Семен Григорьевич сказал, вполне правильные слова.

Легкая тень пробежала по лицу Елизаветы, но улыбка, задрожавшая на ее полных губах, тотчас же согнала эту тень.

– Все это хорошо, други мои, – проговорила она, – но я боюсь одного, что торопливостью все испортить можно: сами, чай, знаете поговорку: «Поспешишь – людей насмешишь».

– Да, но медлительностью, – отозвался Дмитрий Андреевич Шепелев, – можно так же испортить дело, как и торопливостью. Я не знаю, как вы, ваше высочество, того не ведаете, а, по крайности, уходят такие полки, что я всего опасаться начинаю. Бирон чует, что мы ему ловушку готовим, и смотрите, как бы он не разведал всего: у него ушей слишком много, и тогда как раз вам вместо короны придется, пожалуй, клобук³⁰ надевать.

– Чего же вы хотите от меня?

– Прикажи, матушка, только действие начать, – воскликнул опять Нарышкин, – скажи только одно слово – и не пройдет и недели, как Бирона мы в Шлюшин упрячем, а тебя на престол посадим. – И он горящими глазами впился в лицо принцессы, с замиранием сердца ожидая, как и все остальные, что она наконец скажет решительное слово.

Но Елизавета Петровна опять опустила голову, опять резкая морщинка легла между ее бровями, и опять воцарилось молчание. Тяжело ей было сказать это решительное слово. Снова нынешнюю Елизавету заменила прежняя робкая девушка, снова, как и прежде, когда ей советовал Ягужинский, не обращая внимания на верховников, воссесть на прародительском престоле, в ней родилось опасение, что эта задача ей не по силам, что императорская корона придавит ее своею тяжестью и что, далекая от тяготы, которую несет с собою царская порфира, она будет гораздо счастливее и гораздо спокойнее.

Однако нужно же было отвечать. Ее ответа ждали, на нее смотрели, и, когда она подняла голову, она видела, каким лихорадочным блеском горят все глаза, устремленные на нее. И в

³⁰ Клобук – головной убор монахов, высокий цилиндр без полей с покрывалом.

душе ее, охваченной сомнением, уже было подсказавшим ей отказ от решительных действий, проснулась теперь жалость ко всем этим людям, так охотно несущим за нее свои головы. Она вдруг поняла, что если ей тяжело вымолвить решительное слово, то одинаково тяжело также огорчить все эти верные ей сердца отказом, и она, растерянная, с краской смущения, проступившей на ее щеках, прошептала:

– Я не знаю, что сказать, но я не могу, друзья мои, сейчас решиться.

Легкий вздох сожаления колыхнул десятки грудей. Ярko горевшие на минуту глаза точно потухли, оживленные лица потускнели.

– Эх, ваше высочество, ваше высочество! – проговорил, качая седою головою, Нарышкин. – Не жалеете вы нас, так это пустое дело, а вы и себя не жалеете.

Елизавета развела руками и бросила смущенный взгляд на Разумовского, точно прося его помощи, точно ожидая, что он поддержит ее в эту трудную для нее минуту. Но прежде чем Разумовский успел открыть рот, Лесток, сидевший по другую сторону принцессы, нервно щелкнул крышкой табакерки, которую держал в руках, и заметил, говоря специально для Елизаветы Петровны, но обращаясь не к ней, а ко всему собранию.

– В таком разе, государи мои, – начал он, стараясь шепелявостью замаскировать сильный акцент, слышавшийся в его речи, – в таком разе видно по всему, что ее высочеству наши услуги ненадобны, а посему, так как время уже позднее, расходитесь по домам да не пеняйте на нас лихом, что мы потревожили вас в такое неприглядное время.

Эти слова укололи Елизавету Петровну. Лицо ее вспыхнуло ярким румянцем, она бросила на своего лейб-медика гневный взгляд и резко сказала:

– Кажись, Герман Генрихович, ты о моих тайных мыслях не осведомлен и за меня решить дело не можешь. Я еще ничего не сказала – ни да ни нет, а ты уже спешишь за меня от их услуг отказываться.

По обрюзглому лицу Лестока прошла хитрая улыбка.

– Я, ваше высочество, – отозвался он, – ваших мыслей не предрешаю, и, если вам угодно отдать приказание, вам никто не мешает это сделать тотчас же, тем более, говорю вам, что медлить не только нечего, но и нельзя. Время к делу теперь самое подходящее, а если мы то время упустим, то потом, пожалуй, ничего не выйдет. Я чаю, что меня в сем и Алексей Григорьевич поддержит, что и он так же, как и я и как все наши друзья, думает.

– Совершенно правильно, – заговорил наконец Разумовский, – я уж про то ее высочеству осмелился говорить. Коли желает она императорскую корону воспринять, то пусть на сие немедленно решается.

Елизавета окончательно потерялась. Она чувствовала, что отступать было нельзя, что медлить было невозможно и приходилось одно из двух: или наконец вымолвить ожидаемое с таким нетерпением всеми решительное слово, или же наотрез отказаться от своего замысла. И она, повинуясь вдруг какому-то тайному голосу, повинуясь внезапно вспыхнувшей энергии, торопливо, точно боясь, что в ней проснется опять робость, выговорила:

– Пусть будет так! Коли вы считаете, что мне следует воспринять императорский скипетр³¹ российской державы, объявляю вам на то свое согласие и прошу приготовиться к решительным действиям. Герман Генрихович и Алексей Григорьевич укажут вам день, когда к тому приступить, а теперь прощайте, помните, что я надеюсь на вас, что в ваших руках не только моя судьба, но и моя жизнь.

Она поспешно встала, поклонилась всем общим поклоном и вышла из комнаты, а вслед ей прогремел радостный виват, вырвавшийся вместе с облегченным вздохом из грудей всех собравшихся здесь.

³¹ Скипетр – жезл, один из знаков монархической власти.

Не прошло и нескольких минут, как комната, еще недавно полная народа, снова опустела, а по петербургским улицам снова зашагали таинственные тени, точно расплываясь и тая во мраке.

Левашев и Лихарев шли вместе.

– Слава богу, – шепотом проговорил Дмитрий Петрович, – наконец-то принцесса изволила стряхнуть с себя эту проклятую робость.

– Тише, – остановил его Лихарев, – не говори на улице! Этого ночного мрака нужно бояться даже больше, чем светлого дня. Ты видишь, кругом какая темь; кто поручится, что в этой тьме не притаилось чье-нибудь ухо. Поудержи немного свой язык, успеем наговориться, когда придем ко мне.

Но наговориться им, однако, не пришлось и в квартире Антона Петровича.

Уже шагая по грязному двору и пробираясь к подъезду своей квартиры, Лихарев заметил, что из его комнаты, светлыми полосами врываясь в ночной мрак, падают яркие лучи. Он приостановился, поглядел на окна и досадливо промолвил:

– Кого это нелегкая принесла? Мне, во-первых, страшно спать хочется, а во-вторых, и поговорить по душам не дадут. Наверное, это какого-нибудь гостя принесло: не спится человеку, вот он и забрел с дурных глаз.

Гость, который сидел в комнатах Антона Петровича, оказался поручиком Милошевым.

– Ах, это Милуша! – воскликнул Лихарев, когда его взгляд упал на розовое лицо юного офицера. – Ну, Милуши-то я стесняться не буду... Изволь-ка, сударь, – обратился он к нему, – надевать свой плащ да убираться подобру-поздорову. Я, братец, смертельно спать хочу, а оставить тебя ночевать тоже не могу, так как, видишь, со мной пришел Митя, а другого дивана у меня не имеется. Ну-ка, ну-ка, уходи, сударь. И завтра можем с тобою увидаться.

Милошев вспыхнул как маков цвет, но не от обиды, а по привычке, и, вместо того чтобы подняться с кресла, на котором сидел, и последовать настойчивому совету Лихарева, отрицательно покачал головой:

– Нет, Антон Петрович, как ты там хочешь, а я уйти не могу: у меня к тебе разговор есть. Надобно мне, Антон Петрович, один секрет сообщить, помнишь, по тому делу, о котором мы с тобой уж толковали.

Антон Петрович пристально поглядел на своего гостя, затем перевел взгляд на Левашева.

– Может быть, я мешаю? – спросил тот.

– О нет, нет, – воскликнул Милошев, – об этом и говорить нечего! Вы не только не помешаете, но даже я буду очень рад, если вы примкнете к тому предложению, какое я хочу сделать.

– Ну, делать нечего, Милуша, – проговорил Лихарев, – от тебя, видно, не отвяжешься! Давай разговаривать! – И, точно приглашая Дмитрия Петровича быть как можно внимательнее, он бросил на него многозначительный взгляд.

– Ты, чай, не позабыл, Антон Петрович, – начал юный офицер, понизив голос до шепота, – о чем я тебе прошлую пятницу докладывал?

– Конечно, не позабыл. Так, стало, дело на мази? Ты, значит, форменным заговорщиком сделался?

Милошев кивнул.

– Не только на мази, но мы завтрашний день и действовать решили.

– Вот как! – протянул Лихарев и бросил на Левашева тревожный взгляд.

– Да объясните же, господа, в чем дело? – взмолился тот, хотя и догадываясь смутно, но не понимая ясно, о чем они говорят.

Лихарев хотел было посвятить приятеля в таинственный смысл слов Милуши, но тот предупредил его.

– Видите ли, сударь, в чем дело, – заговорил молодой офицер, – ее высочеству принцессе Анне Леопольдовне от Бирона, как вам ведомо, совсем житья нет. Хоть он и регентом только

числится, однако и мать императора, и ее супруга совсем ни за что почитает и распоряжается всем с таким своеволием, словно бы он сам императорскую корону носит. Это уж совсем несправедливо, а потому принцесса Анна и возымела намерение освободиться от опеки господина Бирона. Составился сему заговор, в котором главное участие принимает его сиятельство генерал-фельдцейхмейстер, и на завтрашний день самое действие назначено. Его сиятельство граф Миних арестует Бирона, и сделать это будет совсем нетрудно, так как, кроме Измайловского полка, на стороне правительницы все войска.

Лихарев опять бросил тревожный взгляд на Левашева.

– Вот оно что! – промолвил он. – Так вы, стало быть, уж все и оборудовали?

– Положительно все, – отозвался самодовольно Милошев.

– И чаєте, удача тому будет?

Юный офицер на этот раз покраснел уже от обиды и развел руками.

– Тут и сомневаться нечего.

– Так зачем же ты, сударь, ко мне-то пришел? Зачем же это ты мне эту тайну рассказал?

А вдруг я возьму да сейчас к господину регенту отправлюсь да всех вас головой и выдам?

На губах Милошева показалась недоверчивая улыбка, но его голубые глаза тревожно забегали по сторонам.

– Ну вот, – воскликнул он, – точно я не знаю, с кем я говорю! Чай, не к чужому человеку пришел, а к приятелю, да и пришел-то я неспроста. Я так думаю, что ежели такое дело затеялось, так и тебе, Антон Петрович, и вам, сударь, принять в нем участие не мешает.

Дмитрий Петрович и Лихарев опять переглянулись.

– Спасибо тебе, Милуша, – проговорил после небольшого раздумья Антон Петрович, – спасибо тебе, что в такую минуту о приятелях вспомнил, это показывает, что у тебя хорошее сердце, и я этого никогда не забуду. Тайны я твоей не выдам – в этом ты можешь быть спокоен; желаю вам во всем полной удачи и успеха. Первый от души порадуюсь, коли вы эту курляндскую собаку арестуете, а только что до меня – то от участия в сем я отказаться должен.

– И я не могу в этом участвовать, – в унисон приятелю отозвался Левашев.

– Да почему же? – удивленно воскликнул Милошев.

– Потому, дружок, что поздно в последний день к таким делам приставать, а, окромя того, я что-то очень труслив за последние дни стал.

– Ну, как хотите, как знаете! – дрожащими от обиды губами выговорил юноша. – В таком разе прощайте, побегу домой, нужно уж нонече выспаться – завтра спать не придется.

IX

Ночной поход

В покоях герцога Эрнста Бирона, занимаемых им в Летнем дворце, царит странное безмолвие. В прихожих толпятся слуги, все комнаты ярко освещены, но, несмотря на это, все здесь окутано мертвой тишиной, которая странно тяготит всех и действует неприятно даже на самого всеильного регента, медленно прохаживающегося по своему кабинету. С той минуты, когда императрица Анна скончалась, герцог потерял совершенно спокойствие духа. Его обычная подозрительность усилилась еще более, страх, прежде мало знакомый его душе, теперь зачастую овладевал им.

Несмотря на то что герцогу удалось заставить умирающую императрицу провозгласить его регентом, несмотря на то что его власть как бы еще более упрочилась, фаворит покойной императрицы чувствовал, что почва под его ногами далеко не устойчива, что он слишком одинок среди своих врагов, а своими врагами он мог считать все русское дворянство и весь русский народ, терпевший его жестокое своеволие только до поры до времени. Уже через несколько дней после того, когда он торжественно прочел посмертный акт почившей Анны, которым он объявлялся регентом империи до тех пор, пока ребенку-императору не исполнится семнадцати лет, герцог узнал, что недовольство им среди народа и в войске не только растет, но прорывается наружу, что среди офицеров идет глухой ропот, явно предвещающий взрыв, и хотя он и приказал арестовывать всех, кто слишком возвышает голос, хотя Тайная канцелярия была буквально переполнена действительными и воображаемыми противниками его власти, однако он чувствовал, что это мало упрочит его положение, что нельзя же отрубить поголовно всем головы и, чтобы удержаться на высоте, нужны какие-нибудь иные меры. И вот теперь, медленно прохаживаясь по своему кабинету, пугливым взором вглядываясь в окутанные тенью углы комнаты, тревожно прислушиваясь к гнетущей тишине, стоящей кругом, герцог уже выработал тот план, который давно уже мелькал в его голове, который сможет удержать его надолго у кормила власти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.